

Братья Карамазовы. Часть 2

Федор Михайлович Достоевский

Братья Карамазовы

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ С ЭПИЛОГОМ

* ЧАСТЬ ВТОРАЯ. *

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ Надрывы

I. ОТЕЦ ФЕРАПОНТ.

Рано утром, еще до света, был пробужден Алеша. Старец проснулся и почувствовал себя весьма слабым, хотя и пожелал с постели пересесть в кресло. Он был в полной памяти; лицо же его было хотя и весьма утомленное, но ясное, почти радостное, а взгляд веселый, приветливый, зовущий. "Может и не переживу наступившего дня сего", сказал он Алеше; затем возжелал исповедаться и причаститься немедленно. Духовником его всегда был отец Паисий. По совершении обоих таинств началось соборование. Собрались иеромонахи, келья мало-по-малу наполнилась скитниками. Наступил меж тем день. Стали приходить и из монастыря. Когда кончилась служба, старец со всеми возжелал проститься и всех целовал. По тесноте кельи, приходившие прежде выходили и уступали другим. Алеша стоял подле старца, который опять пересел в кресло. Он говорил и учил сколько мог, голос его, хоть и слабый, был еще довольно тверд. "Столько лет учил вас, и стало быть столько лет вслух говорил, что как бы и привычку взял говорить, а говоря вас учить, и до того сие, что молчать мне почти и труднее было бы, чем говорить, отцы и братия милые, даже и теперь при слабости моей", - пошутил он, умиленно взирая на толпившихся около него. Алеша упомянул потом кое-что из того, что он тогда сказал. Но хоть и внятно говорил, и хоть и голосом достаточно твердым, но речь его была довольно несвязна. Говорил он о многом, казалось, хотел бы все сказать, все высказать еще раз, пред смертною минутой, изо всего недосказанного в жизни, и не поучения лишь одного ради, а как бы жажда поделиться радостью и восторгом своим со всеми и вся, излиться еще раз в жизни сердцем своим...

"Любите друг друга, отцы, - учил старец (сколько запомнил потом Алеша). - Любите народ божий. - Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в сих стенах затворились, а напротив, всякий сюда пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя, что он хуже всех мирских и всех и вся на земле... И чем долее потом будет жить инок в стенах своих, тем

чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо в противном случае не за чем ему было и приходить сюда. Когда же познает, что не только он хуже всех мирских, но и пред всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. Ибо знайте, милые, что каждый единый из нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого человека на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого на земле человека. Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения. Тогда каждый из вас будет в силах весь мир любовью приобрести и слезами своими мировые грехи омыть... Всяк ходи около сердца своего, всяк себе исповедайся неустанно. Греха своего не бойтесь, даже и сознав его, лишь бы покаяние было, но условий с богом не делайте. Паки говорю, - не гордитесь. Не гордитесь пред малыми, не гордитесь и пред великими. Не ненавидьте и отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на вас клеветующих. Не ненавидьте атеистов, злоучителей, материалистов, даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. Поминайте их на молитве тако: спаси всех, господи, за кого некому помолиться, спаси и тех, кто не хочет тебе молиться. И прибавьте тут же: не по гордости моей молю о сем, господи, ибо и сам мерзок есмь паче всех и вся... Народ божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей, а пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно... Не лихоимствуйте... Сребра и золота не любите, не держите... Веруйте и знамя держите. Высоко возносите его..."

Старец впрочем говорил отрывочнее, чем здесь было изложено и как записал потом Алеша. Иногда он пресекал говорить совсем, как бы собираясь с силами, задыхался, но был как бы в восторге. Слушали его с умилением, хотя многие и дивились словам его и видели в них темноту... Потом все эти слова вспомнили. Когда Алеше случилось на минуту отлучиться из кельи, то он был поражен всеобщим волнением и ожиданием толпившейся в келье и около кельи братии. Ожидание было между иными почти тревожное, у других торжественное. Все ожидали чего-то немедленного и великого тотчас по успении старца. Ожидание это с одной точки зрения было почти как бы и легкомысленное, но даже и самые строгие старцы подвергались сему. Всего строже было лицо старца иеромонаха Паисия. Алеша отлучился из кельи лишь потому, что был таинственно вызван, чрез одного монаха, прибывшим из города Ракитиным, со странным письмом к Алеше от г-жи Хохлаковой. Та сообщала Алеше одно любопытное, чрезвычайно кстати пришедшее известие. Дело состояло в том, что вчера между верующими простонародными женщинами, приходившими поклониться старцу и благословиться у него, была одна городская старушка, Прохорова, унтер-офицерская вдова. Спрашивала она старца: можно ли ей помянуть сыночка своего Васеньку, заехавшего по службе далеко в Сибирь, в Иркутск, и от которого она уже год не получала никакого известия, вместо покойника в церкви за упокой? На что старец ответил ей со строгостию, запретив и назвав такого рода поминание подобным колдовству. Но затем, простив ей по неведению, прибавил "как бы смотря в книгу будущего" (выражалась г-жа Хохлакова в письме своем) и утешение: "что сын ее Вася жив несомненно, и что или сам приедет к ней в скорости, или письмо пришлет, и чтоб она шла в свой дом и ждала сего. И что же? прибавляла в восторге госпожа Хохлакова: - пророчество совершилось даже буквально, и даже более того". Едва лишь старушка вернулась домой, как ей тотчас же передали уже ожидавшее ее письмо из Сибири. Но этого еще мало: в письме этом, писанном с дороги, из Екатеринбургa, Вася уведомлял свою мать, что едет сам в Россию, возвращается с одним чиновником, и что недели чрез три по получении письма сего, "он надеется обнять свою мать". Г-жа Хохлакова настоятельно и горячо умоляла Алешу немедленно передать это свершившееся вновь "чудо предсказания" игумену и всей братии: "это должно быть всем, всем известно!" восклицала она, заключая письмо свое. Письмо ее было писано наскоро, поспешно, волнение писавшей отзывалось в каждой строчке его. Но Алеше уже и нечего было сообщать братии, ибо все уже все знали: Ракитин, послав за ним монаха, поручил тому кроме того "почтительнейше донести и его высокопреподобию отцу Паисию, что имеет до него он, Ракитин, некое дело, но такой важности, что и

минуты не смеет отложить для сообщения ему, за дерзость же свою земно просит простить его". Так как отцу Паисию монашек сообщил просьбу Ракитина раньше, чем Алеше, то Алеше, придя на место, осталось лишь, прочтя письмецо, сообщить его тотчас же отцу Паисию в виде лишь документа. И вот даже этот суровый и недоверчивый человек, прочтя, нахмурившись, известие о "чуде", не мог удержать вполне некоторого внутреннего чувства своего. Глаза его сверкнули, уста важно и проникновенно вдруг улыбнулись.

- То ли еще узрим? - как бы вырвалось у него вдруг.

- То ли еще узрим, то ли еще узрим! - повторили кругом монахи, но отец Паисий, снова нахмурившись, попросил всех хотя бы до времени вслух о сем не сообщать никому, "пока еще более подтвердится, ибо много в светских легкомыслия, да и случай сей мог произойти естественно", - прибавил он осторожно, как бы для очистки совести, но почти сам не веруя своей оговорке, что очень хорошо усмотрели и слушавшие. В тот же час, конечно, "чудо" стало известно всему монастырю и многим даже пришедшим в монастырь к литургии светским. Всех же более, казалось, был поражен совершившимся чудом вчерашний захожий в обитель монашек "от святого Сильвестра", из одной малой обители Обдорской на дальнем севере. Он поклонился вчера старцу, стоя около г-жи Хохлаковой, и, указывая ему на "исцеленную" дочь этой дамы, проникновенно спросил его: "Как дерзаете вы делать такие дела?"

Дело в том, что теперь он был уже в некотором недоумении и почти не знал чему верить. Еще вчера в вечеру посетил он монастырского отца Ферапонта в особой келье его за пасекой и был поражен этою встречей, которая произвела на него чрезвычайное и ужасающее впечатление. Старец этот, отец Ферапонт, был тот самый престарелый монах, великий постник и молчальник, о котором мы уже и упоминали как о противнике старца Зосимы, и главное - старчества, которое и считал он вредным и легкомысленным новшеством. Противник этот был чрезвычайно опасный, несмотря на то, что он, как молчальник, почти и не говорил ни с кем ни слова. Опасен же был он главным тем, что множество братии вполне сочувствовало ему, а из приходящих мирских очень многие чтили его как великого праведника и подвижника, несмотря на то, что видели в нем несомненно юродивого. Но юродство-то и пленяло. К старцу Зосиме этот отец Ферапонт никогда не ходил. Хотя он и проживал в скиту, но его не очень-то беспокоили скитскими правилами, потому опять-таки что держал он себя прямо юродивым. Было ему лет семьдесят пять, если не более, а проживал он за скитскою пасекой, в углу стены, в старой, почти развалившейся деревянной келье, поставленной тут еще в древнейшие времена, еще в прошлом столетии, для одного тоже величайшего постника и молчальника отца Ионы, прожившего до ста пяти лет, и о подвигах которого даже до сих пор ходили в монастыре и в окрестностях его многие любопытнейшие рассказы. Отец Ферапонт добился того, что и его наконец поселили, лет семь тому назад, в этой самой уединенной келийке, то-есть просто в избе, но которая весьма похожа была на часовню, ибо заключала в себе чрезвычайно много жертвованных образов с теплившимися вековечно пред ними жертвованными лампадками, как бы смотреть за которыми и возжигать их и приставлен был отец Ферапонт. Ел он, как говорили (да оно и правда было), всего лишь по два фунта хлеба в три дня, не более; приносил ему их каждые три дня живший тут же на пасеке пасечник, но даже и с этим прислуживавшим ему пасечником отец Ферапонт тоже редко когда молвил слово. Эти четыре фунта хлеба, вместе с воскресною просвиркой, после поздней обедни аккуратно присылаемой блаженному игумену, и составляли все его недельное пропитание. Воду же в кружке переменяли ему на каждый день. У обедни он редко появлялся. Приходившие поклонники видели, как он простаивал иногда весь день на молитве, не вставая с колен и не озираясь. Если же и вступал когда с ними в беседу, то был краток, отрывист, странен и всегда почти груб. Бывали однако очень редкие случаи, что и он разговорится с прибывшими, но большею частью произносил одно лишь какое-нибудь странное слово, задававшее всегда посетителю большую загадку, и затем уже, несмотря ни на какие просьбы, не произносил ничего в объяснение. Чина священнического не имел, был простой лишь монах. Ходил очень странный слух, между самими впрочем темными людьми, что отец Ферапонт имеет сообщение с небесными духами и с ними только ведет беседу, вот почему с людьми и молчит. Обдорский монашек, пробравшись на пасеку по указанию пасечника, тоже весьма молчаливого и угрюмого монаха, пошел в уголок, где стояла келийка отца Ферапонта. "Может и заговорит как с пришельцем, а может и ничего от него не добьешься", -

предупредил его пасечник. – Подходил монашек, как и сам передавал он потом, с величайшим страхом. Час был уже довольно поздний. Отец Ферапонт сидел в этот раз у дверей келийки, на низенькой скамеечке. Над ним слегка шумел огромный старый вяз. Набегал вечерний холодок. Обдорский монашек повергся ниц пред блаженным и попросил благословения.

– Хочешь, чтоб и я пред тобой, монах, ниц упал? – проговорил отец Ферапонт. – Восстани!

Монашек встал.

– Благословляя да благословишься, садись подле. Откулева занесло?

Что всего более поразило бедного монашка, так это то, что отец Ферапонт, при несомненном великом постничестве его, и будучи в столь преклонных летах, был еще на вид старик сильный, высокий, державший себя прямо, несогбенно, с лицом свежим, хоть и худым, но здоровым. Несомненно тоже сохранилась в нем еще и значительная сила. Сложения же был атлетического. Несмотря на столь великие лета его, был он даже и не вполне сед, с весьма еще густыми, прежде совсем черными волосами на голове и бороде. Глаза его были серые, большие, светящиеся, но чрезвычайно выплывшиеся, что даже поражало. Говорил с сильным ударением на о. Одет же был в рыжеватый длинный армяк, грубого арестантского по прежнему именованию сукна и подпоясан толстою веревкой. Шея и грудь обнажены. Толстейшего холста, почти совсем почерневшая рубаха, по месяцам не снимавшаяся, выглядывала из-под армяка. Говорили, что носит он на себе под армяком тридцатифунтовые вериги. Обут же был в старые почти развалившиеся башмаки на босу ногу.

– Из малой Обдорской обители, от святого Селивестра, – смиренно ответил захожий монашек, быстрыми, любопытными своими глазками, хотя несколько и испуганными, наблюдая отшельника.

– Бывал у твоего Селивестра. Живал. Здоров ли Селиверст-то?

Монашек замялся.

– Бестолковые вы человеки! Как соблюдаете пост?

– Трапезник наш по древнему скитскому тако устроен: О четырехдесятнице в понедельник, в среду и пяток трапезы не поставляют. Во вторник и четверток на братию хлебы белые, взвар с медом, ягода морошка или капуста соленая, да толокно мешано. В субботу шти белые, лапша гороховая, каша соковая, все с маслом. В неделю ко штям сухая рыба да каша. В страстную же седмицу от понедельника даже до субботнего вечера, дней шесть, хлеб с водою точию ясти и зелие не варено, и се с воздержанием; аще есть можно и не на всяк день приимати, но яко же речено бысть о первой седмице. Во святой же великий пяток, ничесо же ясти, такожде и великую субботу поститися нам до третьего часа и тогда вкусите мало хлеба с водою и по единой чаше вина испити. Во святой же великий четверток ядим варения без масла, прием же вино и ино сходядением. Ибо иже в Лаодикийи собор о велицем четвертке тако глаголет: "Яко не достоин в четырехдесятницу последней недели четверток разрешити и всю четырехдесятницу бесчестити". Вот как у нас. Но что сие сравнительно с вами, великий отче, – ободрившись прибавил монашек, – ибо и круглый год, даже и во святую пасху, лишь хлебом с водою питаетесь, и что у нас хлеба на два дня, то у вас на всю седмицу идет. Воистину дивно таковое великое воздержание ваше.

– А грузди? – спросил вдруг отец Ферапонт, произнося букву г придыхательно, почти как хер.

– Грузди? – переспросил удивленный монашек.

– То-то. Я-то от их хлеба уйду, не нуждаясь в нем вовсе, хотя бы и в лес, и там груздем проживу или ягодой, а они здесь не уйдут от своего хлеба, стало быть чорту связаны. Ныне поганцы рекут, что поститися столь нечего. Надменное и поганое сие есть рассуждение их.

– Ох правда, – вздохнул монашек.

– А чертей у тех видел? – спросил отец Ферапонт.

– У кого же у тех? – робко осведомился монашек.

– Я к игумену прошлого года во святую пятидесятницу восходил, а с тех пор и не был. Видел, у которого на персях сидит, под рясу прячется, токмо рожки выглядывают; у которого из кармана высматривает, глаза быстрые, меня-то боится; у которого во чреве поселился, в самом нечистом брюхе его, а у некоего так на шее висит, уцепился, так и носит, а его не видит.

– Вы... видите? – осведомился монашек.

- Говорю вижу, наскрозь вижу. Как стал от игумена выходить, смотрю - один за дверь от меня прячется, да матерой такой, аршина в полтора али больше росту, хвостище же толстый, бурый, длинный, да концом хвоста в щель дверную и попади, а я не будь глуп, дверь-то вдруг и прихлопнул, да хвост-то ему и защемил. Как завизжит, начал биться, а я его крестным знамением, да трижды, - и закрестил. Тут и подох как паук давленный. Теперь надоть быть погнил в углу-то, смердит, а они-то не видят, не чухают. Год не хожу. Тебе лишь как иностранцу открываю.

- Страшные словеса ваши! А что, великий и блаженный отче, - осмеливался все больше и больше монашек, - правда ли, про вас великая слава идет, даже до отдаленных земель, будто со святым духом непрерывное общение имеете?

- Слетает. Бывает.

- Как же слетает? В каком же виде?

- Птицею.

- Святыи дух в виде голубине?

- То святыи дух, а то Святодух. Святодух иное, тот может и другую птицею снизойти: ино ласточкой, ино щеглом, а ино и синицею.

- Как же вы узнаете его от синицы-то?

- Говорит.

- Как же говорит, каким языком?

- Человечьиим.

- А что же он вам говорит?

- Вот сегодня возвестил, что дурак посетит и спрашивать будет негоже. Много, инок, знать хочеши.

- Ужасны словеса ваши, блаженнейший и святейший отче, - качал головою монашек. В пугливых глазках его завиделась впрочем и недоверчивость.

- А видишь ли древо сие? - спросил помолчав отец Ферапонт.

- Вижу, блаженнейший отче.

- По-твоему вяз, а по-моему иная картина.

- Какая же? - помолчал в тщетном ожидании монашек.

- Бывает в нощи. Видишь сии два сука? В нощи же и се Христос руке ко мне простирает и руками теми ищет меня, явно вижу и трепещу. Страшно, о страшно!

- Что же страшного, коли сам бы Христос?

- А захватит и вознесет.

- Живого-то?

- А в духе и славе Илии, не слыхал, что ли? обьмет и унесет...

Хотя обдорский монашек после сего разговора воротился в указанную ему келийку, у одного из братий, даже в довольно сильном недоумении, но сердце его несомненно все же лежало больше к отцу Ферапонту, чем к отцу Зосиме. Монашек обдорский был прежде всего за пост, а такому великому постнику как отец Ферапонт не дивно было и "чудная видети". Слова его конечно были как бы и нелепые, но ведь господь знает, что в них заключалось-то в этих словах, а у всех Христа ради юродивых и не такие еще бывают слова и поступки. Защемленному же чортову хвосту он не только в иносказательном, но и в прямом смысле душевно и с удовольствием готов был поверить. Кроме сего, он и прежде, еще до прихода в монастырь, был в большом предубеждении против старчества, которое знал доселе лишь по рассказам и принимал его вслед за многими другими решительно за вредное новшество. Ободняя уже в монастыре, успел отметить и тайный ропот некоторых легкомысленных и несогласных на старчество братий. Был он к тому же по натуре своей инок шныряющий и проворный, с превеликим ко всему любопытством. Вот почему великое известие о новом "чуде", совершенном старцем Зосимою, повергло его в чрезвычайное недоумение. Алеша припомнил потом, как в числе теснившихся к старцу и около кельи его иноков мелькала много раз пред ним шныряющая везде по всем кучкам фигурка любопытного обдорского гостя, ко всему прислушивающегося и всех вопрошающего. Но тогда он мало обратил внимания на него и только потом все припомнил... Да и не до того ему было: старец Зосима, почувствовавший вновь усталость и улегшийся опять в постель, вдруг заводя уже очи, вспомнил о нем и потребовал его к себе. Алеша немедленно прибежал. Около старца находились тогда всего лишь отец Паисий, отец иеромонах Иосиф, да Порфирий послушник. Старец, раскрыв утомленные очи и пристально глянув на Алешу, вдруг спросил его:

- Ждут ли тебя твои, сынок?

Алеша замялся.

- Не имеют ли нужды в тебе? Обещал ли кому вчера на сегодня быть?

- Обещался... отцу... братьям... другим тоже...

- Видишь. Непременно иди. Не печалься. Знай, что не умру без того, чтобы не сказать при тебе последнее мое на земле слово. Тебе скажу это слово, сынок, тебе и завещаю его. Тебе, сынок милый, ибо любишь меня. А теперь пока иди к тем, кому обещал.

Алеша немедленно покорился, хотя и тяжело ему было уходить. Но обещание слышать последнее слово его на земле и, главное, как бы ему Алеше завещанное, потрясло его душу восторгом. Он заспешил, чтоб, окончив все в городе, поскорей воротиться. Как раз отец Паисий молвил ему напутственное слово, произведшее на него весьма сильное и неожиданное впечатление. Это когда уже они оба вышли из кельи старца.

- Помни, юный, неустанно (так прямо и безо всякого предисловия начал отец Паисий), что мирская наука, соединившись в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось из всей прежней святости решительно ничего. Но разбирали они по частям, а целое просмотрели и даже удивления достойно до какой слепоты. Тогда как целое стоит перед их же глазами неизбежно как и прежде, и врата адавы не одолеют его. Разве не жило оно девятнадцать веков, разве и не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях народных масс? Даже в движениях душ тех же самых, все разрушивших атеистов живет оно как прежде неизбежно! Ибо и отрехшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. А что было попыток, то выходили одни лишь уродливости. Запомни сие особенно, юный, ибо в мир назначаешься отходящим старцем твоим. Может, вспоминая сей день великий, не забудешь и слов моих, ради сердечного тебе напутствия данных, ибо млад еси, а соблазны в мире тяжелые и не твоим силам вынести их. Ну теперь ступай, сирота.

С этим словом отец Паисий благословил его. Выходя из монастыря и обдумывая все эти внезапные слова, Алеша вдруг понял, что в этом строгом и суровом доселе к нему монахе он встречает теперь нового неожиданного друга и горячо любящего его нового руководителя, - точно как бы старец Зосима завещал ему его умирая. "А может быть так оно и впрямь между ними произошло", подумал вдруг Алеша. Неожиданное же и ученое рассуждение его, которое он сейчас выслушал, именно это, а не другое какое-нибудь, свидетельствовало лишь о горячности сердца отца Паисия: он уже спешил как можно скорее вооружить юный ум для борьбы с соблазнами и огородить юную душу, ему завещанную, оградой, какой крепче и сам не мог представить себе.

II. У ОТЦА.

Прежде всего Алеша пошел к отцу. Подходя он вспомнил, что отец очень настаивал накануне, чтоб он как-нибудь вошел потихоньку от брата Ивана. "Почему ж? - подумалось вдруг теперь Алеше. - Если отец хочет что-нибудь мне сказать одному, потихоньку, то зачем же мне входить потихоньку? Верно он вчера в волнении хотел что-то другое сказать, да не успел", решил он. Тем не менее очень был рад, когда отворившая ему калитку Марфа Игнатъевна (Григорий, оказалось, расхворался и лежал во флигеле) сообщила ему на его вопрос, что Иван Федорович уже два часа как вышел-с.

- А батюшка?

- Встал, кофе кушает, - как-то сухо ответила Марфа Игнатъевна.

Алеша вошел. Старик сидел один за столом, в туфлях и в старом пальтишке, и просматривал для развлечения, без большого однако внимания, какие-то счета. Он был совсем один во всем доме (Смердяков тоже ушел за

провизией к обеду). Но не счета его занимали. Хоть он и встал поутру рано с постели и бодрился, а вид все-таки имел усталый и слабый. Лоб его, на котором за ночь разрослись огромные багровые подтеки, обвязан был красным платком. Нос тоже за ночь сильно припух, и на нем тоже образовалось несколько хоть и незначительных подтеков пятнами, но решительно придававших всему лицу какой-то особенно злобный и раздраженный вид. Старик знал про это сам и недружелюбно поглядел на входившего Алешу.

- Кофе холодный, - крикнул он резко, - не потчую. Я, брат. сам сегодня на одной постной ухе сижу и никого не приглашаю. Зачем пожаловал?

- Узнать о вашем здоровье, - проговорил Алеша.

- Да. И кроме того я тебе вчера сам велел придти. Вздор все это. Напрасно изволил потревожиться. Я так впрочем и знал, что ты тотчас притащишься...

Он проговорил это с самым неприязненным чувством. Тем временем встал с места и озабоченно посмотрел в зеркало (может быть в сороковой раз с утра) на свой нос. Начал тоже прилаживать покрасивее на лбу свой красный платок.

- Красный-то лучше, а в белом на больницу похоже, - сентенциозно заметил он. - Ну что там у тебя? Что твой старец?

- Ему очень худо, он может быть сегодня умрет, - ответил Алеша, но отец даже и не расслышал, да и вопрос свой тотчас забыл.

- Иван ушел, - сказал он вдруг. - Он у Митьки изо всех сил невесту его отбивает, для того здесь и живет, - прибавил он злобно и, скривив рот, посмотрел на Алешу.

- Неужто ж он вам сам так сказал? - спросил Алеша.

- Да и давно еще сказал. Как ты думаешь: недели с три как сказал. Не зарезать же меня тайком и он приехал сюда? Для чего-нибудь да приехал же?

- Что вы! Чего вы это так говорите? - смутился ужасно Алеша.

- Денег он не просит, правда, а все же от меня ни шиша не получит. Я, милейший Алексей Федорович, как можно дольше на свете намерен прожить, было бы вам это известно, а потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить, тем она будет нужнее, - продолжал он, похаживая по комнате из угла в угол, держа руки по карманам своего широкого, засаленного, из желтой летней коломянки, пальто. - Теперь я пока все-таки мужчина, пятьдесят пять всего, но я хочу и еще лет двадцать на линии мужчины состоять, так ведь состареюсь - поган стану, не пойдут они ко мне тогда доброю волей, ну вот тут-то денежки мне и понадобятся. Так вот я теперь и подкапливаю все побольше, да побольше для одного себя-с, милый сын мой Алексей Федорович, было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить, было бы вам это известно. В скверне-то слаще: все ее ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто. Вот за простодушие то это мое на меня все сквернавцы и накинулись. А в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу, это было бы тебе известно, да порядочному человеку оно даже в рай-то твой и неприлично, если даже там и есть он. По-моему, заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так и чорт вас деря. Вот моя философия. Вчера Иван здесь хорошо говорил, хоть и были мы все пьяны. Иван хвастун, да и никакой у него такой учености нет... да и особенного образования тоже нет никакого, молчит да усмежается на тебя молча, - вот на чем только и выезжает.

Алеша его слушал и молчал.

- Зачем он не говорит со мной? А и говорит, так ломается; подлец твой Иван! А на Грушке сейчас женюсь, только захочу. Потому что с деньгами стоит только захотеть-с, Алексей Федорович, все и будет. Вот Иван-то этого самого и боится и сторожит меня, чтоб я не женился, а для того наталкивает Митьку, чтобы тот на Грушке женился: таким образом хочет и меня от Грушки уберечь (будто бы я ему денег оставляю, если на Грушке не женюсь!), а с другой стороны, если Митька на Грушке женится, так Иван его невесту богатую себе возьмет вот у него расчет какой! Подлец твой Иван!

- Как вы раздражительны. Это вы со вчерашнего; пошли бы вы да легли, - сказал Алеша.

- Вот ты говоришь это, - вдруг заметил старик, точно это ему в первый раз только в голову вошло, - говоришь, а я на тебя не сержусь, а на Ивана, если б он мне это самое сказал, я бы рассердился. С тобой только одним бывали у меня добренькие минутки, а то я ведь злой человек.

- Не злой вы человек, а исковерканный, - улыбнулся Алеша.

- Слушай, я разбойника Митьку хотел сегодня было засадить, да и теперь еще не знаю, как решу. Конечно, в теперешнее модное время принято отцов да матерей за предрассудок считать, но ведь по законам-то, кажется, и в наше время не позволено стариков отцов за волосы таскать, да по роже каблуками на полу бить, в их собственном доме, да похвалиться придти и совсем убить - все при свидетелях-с. Я бы, если бы захотел, скрючил его и мог бы за вчерашнее сейчас засадить.

- Так вы не хотите жаловаться, нет?

- Иван отговорил. Я бы наплевал на Ивана, да я сам одну штуку знаю...

И, нагнувшись к Алеше, он продолжал конфиденциальным полупешепотом.

- Засади я его, подлеца, она услышит, что я его засадил, и тотчас к нему побежит. А услышит если сегодня, что тот меня до полусмерти, слабого старика, избил, так пожалуй бросит его, да ко мне придет навестить... Вот ведь мы какими характерами одарены - только чтобы насупротив делать. Я ее насквозь знаю! А что, коньячку не выпьешь? Возьми-ка кофейку холодненького, да я тебе и прилью четверть рюмочки, хорошо это, брат, для вкуса.

- Нет, не надо, благодарю. Вот этот хлебец возьму с собой, коли дадите, - сказал Алеша и, взяв трехкопеечную французскую булку, положил ее в карман подрясника. - А коньяку и вам бы не пить, - опасливо посоветовал он, вглядываясь в лицо старика.

- Правда твоя, раздражает, а покою не дает. А ведь только одну рюмочку... Я ведь из шкапика...

Он отворил ключом "шкапик", налил рюмочку, выпил, потом шкапик запер и ключ опять в карман положил.

- И довольно, с рюмки не околею.

- Вот вы теперь и добрее стали, - улыбнулся Алеша.

- Гм! Я тебя и без коньяку люблю, а с подлецами и я подлец. Ванька не едет в Чермашню - почему? Шпионить ему надо: много ль я Грушеньке дам, коли она придет. Все подлецы! Да я Ивана не признаю совсем. Не знаю я его совсем. Откуда такой появился? Не наша совсем душа. И точно я ему что оставлю? Да я и завещания-то не оставлю, было бы это вам известно. А Митьку я раздавлю как таракана. Я черных тараканов ночью туфлей давлю: так и шелкнет, как наступишь. Щелкнет и Митька твой. Твой Митька, потому что ты его любишь. Вот ты его любишь, а я не боюсь, что ты его любишь. А кабы Иван его любил, я бы за себя боялся того, что он его любит. Но Иван никого не любит. Иван не наш человек, эти люди, как Иван, это, брат, не наши люди, это пыль поднимающаяся... Подует ветер, и пыль пройдет... Вчера было глупость мне в голову пришла, когда я тебе на сегодня велел приходить: хотел было я через тебя узнать насчет Митьки-то, если б ему тысячку, ну другую, я бы теперь отсчитал, согласился ли бы он, нищий и мерзавец, отселева убраться совсем, лет на пять, а лучше на тридцать пять, да без Грушки и уже от нее совсем отказаться, а?

- Я... я спрошу его... - пробормотал Алеша. - Если бы все три тысячи, так может быть он...

- Врешь! Не надо теперь спрашивать, ничего не надо! Я передумал. Это вчера глупость в башку мне сглупу влезла. Ничего не дам, ничевошеньки, мне денюжки мои нужны самому, - замахал рукою старик. - Я его и без того как таракана придавлю. Ничего не говори ему, а то еще будет надеяться. Да и тебе совсем нечего у меня делать, ступай-ка. Невеста-то эта, Катерина-то Ивановна, которую он так тщательно от меня все время прятал, за него идет али нет? Ты вчера ходил к ней, кажется?

- Она его ни за что не хочет оставить.

- Вот таких-то эти нежные барышни и любят, кутил да подлецов! Дрянь, я тебе скажу, эти барышни бледные; то ли дело... Ну! кабы мне его молодость, да тогдашнее мое лицо (потому что я лучше его был собой в двадцать восемь-то лет), так я бы точно так же как и он побеждал. Каналья он! А Грушеньку все-таки не получит-с, не получит-с... В грязь обращу! Он снова рассвирепел с последних слов.

- Ступай и ты, нечего тебе у меня делать сегодня, - резко отрезал он.

Алеша подошел проститься и поцеловал его в плечо.

- Ты чего это? - удивился немного старик. - Еще увидимся ведь. - Аль думаешь не увидимся?

- Совсем нет, я только так, нечаянно.

- Да ничего и я, и я только так... - глядел на него старик. - Слышь ты,

слышь. - крикнул он ему вслед, - приходи когда-нибудь поскорей, и на уху, уху сварю, особенную, не сегодняшнюю, непременно приходи! Да завтра, слышь, завтра приходи!

И только что Алеша вышел за дверь, подошел опять к шкапику и хлопнул еще полрюмочки.

- Больше не буду! - пробормотал он крякнув, опять запер шкапик, опять положил ключ в карман, затем пошел в спальню, в бессилии прилег на постель и в один миг заснул.

III. СВЯЗАЛСЯ СО ШКОЛЬНИКАМ.

"Слава богу, что он меня про Грушеньку не спросил", подумал в свою очередь Алеша, выходя от отца и направляясь в дом г-жи Хохлаковой, "а то бы пришлось пожалуй про вчерашнюю встречу с Грушенькой рассказать". Алеша больно почувствовал, что за ночь бойцы собрались с новыми силами, а сердце их с наступившим днем опять окаменело: "Отец раздражен и зол, он выдумал что-то и стал на том; а что Дмитрий? Тот тоже за ночь укрепился, тоже надо быть раздражен и зол, и тоже что-нибудь конечно надумал... О, непременно надо сегодня его успеть разыскать во что бы ни стал..."

Но Алеше не удалось долго думать: с ним вдруг случилось дорогой одно происшествие, на вид хоть и не очень важное, но сильно его поразившее. Как только он прошел площадь и свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, параллельную Большой, но отделяющуюся от нее лишь канавкой (весь город наш пронизан канавками), он увидел внизу пред мостиком маленькую кучку школьников, все малолетних деток, от девяти до двенадцати лет не больше. Они расходились по домам из класса со своими ранчиками за плечами, другие с кожаными мешечками на ремнях через плечо, одни в курточках, другие в пальтишках, а иные и в высоких сапогах со складками на голенищах, в каких особенно любят щеголять маленькие детки, которых балуют зажиточные отцы. Вся группа оживленно о чем-то толковала, повидимому совещалась. Алеша никогда не мог безучастно проходить мимо ребят, в Москве тоже это бывало с ним, и хоть он больше всего любил трехлетних детей или около того, но и школьники лет десяти, одиннадцати ему очень нравились. А потому как ни озабочен он был теперь, но ему вдруг захотелось свернуть к ним и вступить в разговор. Подходя он вглядывался в их румяные, оживленные личики и вдруг увидал, что у всех мальчиков было в руках по камню, у других так по два. За канавкой же, примерно шагах в тридцати от группы, стоял у забора и еще мальчик, тоже школьник, тоже с мешочком на боку, по росту лет десяти не больше или даже меньше того, - бледненький, болезненный и со сверкавшими черными глазками. Он внимательно и пытливо наблюдал группу шести школьников, очевидно его же товарищей, с ним же вышедших сейчас из школы, но с которыми он видимо был во вражде. Алеша подошел и, обратясь к одному курчавому, белокурому, румяному мальчику в черной курточке, заметил, оглядев его:

- Когда я носил вот такой как у вас мешочек, так у нас носили на левом боку, чтобы правую рукой тотчас достать; а у вас ваш мешок на правом боку, вам неловко доставать.

Алеша безо всякой предумышленной хитрости начал прямо с этого делового замечания, а между тем взрослому и нельзя начинать иначе, если надо войти прямо в доверенность ребенка и особенно целой группы детей. Надо именно начинать серьезно и деловито и так, чтобы было совсем на равной ноге; Алеша понимал это инстинктом.

- Да он левша, - ответил тотчас же другой мальчик, молодцоватый и здоровый, лет одиннадцати. Все остальные пять мальчиков уперлись глазами в Алешу.

- Он и камни левой бросает, - заметил третий мальчик. В это мгновение в группу как раз влетел камень, задел слегка мальчика-левшу, но пролетел мимо, хотя пущен был ловко и энергически. Пустил же его мальчик за канавкой.

- Лупи его, сажай в него, Смуров! - закричали все. Но Смуров (левша) и

без того не заставил ждать себя и тотчас отплатил: он бросил камнем в мальчика за канавкой, но неудачно: камень ударился о землю. Мальчик за канавкой тотчас же пустил еще в группу камень, на этот раз прямо в Алешу и довольно больно ударил его в плечо. У мальчишки за канавкой весь карман был полон заготовленными камнями. Это видно было за тридцать шагов по отдувшимся карманам его пальтишка.

- Это он в вас, в вас, он нарочно в вас метил. Ведь вы Кармазов, Кармазов? - закричали хохоча мальчишки. - Ну, все разом в него, пали!

И шесть камней разом вылетели из группы. Один угодил мальчику в голову и тот упал, но мигом вскочил и с остервенением начал отвечать в группу камнями. С обеих сторон началась непрерывная перестрелка, у многих в группе тоже оказались в кармане заготовленные камни.

- Что вы это! Не стыдно ли, господа! Шестеро на одного, да вы убьете его! - закричал Алеша.

Он выскочил и стал навстречу летящим камням, чтобы загородить собою мальчика за канавкой. Трое или четверо на минутку унялись.

- Он сам первый начал! - закричал мальчик в красной рубашке раздраженным детским голоском, - он подлец, он давеча в классе Красоткина перочинным ножиком пырнул, кровь потекла. Красоткин только фискалить не хотел, а этого надо избить...

- Да за что? Вы верно сами его дразните?

- А вот он опять вам камень в спину прислал. Он вас знает. - закричали дети. - Это он в вас теперь кидает, а не в нас. Ну все, опять в него, не промахивайся, Смуров!

И опять началась перестрелка, на этот раз очень злая. Мальчику за канавкой ударило камнем в грудь; он вскрикнул, заплакал и побежал вверх в гору, на Михайловскую улицу. В группе загалдели: "Ага, струсил, бежал, мочалка!"

- Вы еще не знаете, Кармазов, какой он подлый, его убить мало, - повторил мальчик в курточке, с горящими глазенками, старше всех повидимому.

- А какой он? - спросил Алеша. - Фискал, что ли? Мальчишки переглянулись как будто с усмешкой.

- Вы туда же идете в Михайловскую? - продолжал тот же мальчик. - Так вот догоните-ка его... Вон видите, он остановился опять, ждет и на вас глядит.

- На вас глядит, на вас глядит! - подхватили мальчишки.

- Так вот и спросите его, любит ли он банную мочалку, растрепанную. Слышите, так и спросите.

Раздался общий хохот. Алеша смотрел на них, а они на него.

- Не ходите, он вас зашибет, - закричал предупредительно Смуров.

- Господа, я его спрашивать о мочалке не буду, потому что вы верно его этим как-нибудь дразните, но я узнаю от него, за что вы его так ненавидите...

- Узнайте-ка, узнайте-ка, - засмеялись мальчишки. Алеша перешел мостик и пошел в горку мимо забора прямо к опальному мальчику.

- Смотрите, - кричали ему вслед предупредительно, - он вас не побоится, он вдруг пырнет, исподтишка... как Красоткина...

Мальчик ждал его, не двигаясь с места. Подойдя совсем, Алеша увидел перед собою ребенка не более девяти лет от роду, из слабых и малорослых, с бледненьким, худеньким продолговатым личиком, с большими, темными и злобно смотревшими на него глазами. Одет он был в довольно ветхий старенький пальтишко, из которого уродливо вырос. Голые руки торчали из рукавов. На правом коленке панталон была большая заплатка, а на правом сапоге, на носке, где большой палец, большая дырка, видно, что сильно замазанная чернилами. В оба отдувшиеся кармашка его пальто были набраны камни, Алеша остановился перед ним в двух шагах, вопросительно смотря на него. Мальчик, догадавшись тотчас по глазам Алеши, что тот его бить не хочет, тоже спустил куражу и сам даже заговорил.

- Я один, а их шесть... Я их всех перебью один, - сказал он вдруг, сверкнув глазами.

- Вас один камень должно быть очень больно ударил, - заметил Алеша.

- А я Смурову в голову попал! - вскрикнул мальчик.

- Они мне там сказали, что вы меня знаете и за что-то в меня камнем бросили? - спросил Алеша. Мальчик мрачно посмотрел на него.

- Я вас не знаю. Разве вы меня знаете? - допрашивал Алеша.

- Не приставайте! - вдруг раздражительно вскрикнул мальчик, сам однако ж не двигаясь с места, как бы все чего-то выжидая и опять злобно засверкав глазенками.

- Хорошо, я пойду, - сказал Алеша, - только я вас не знаю и не дразню. Они мне сказали, как вас дразнят, но я вас не хочу дразнить, прощайте!

- Монах в гарнитуровых штанах! - крикнул мальчик, все тем же злобным и вызывающим взглядом следя за Алешей, да кстати и став в позу, рассчитывая, что Алеша непременно бросится на него теперь, но Алеша повернулся, поглядел на него и пошел прочь. Но не успел он сделать и трех шагов, как в спину его больно ударился пущенный мальчиком самый большой булыжник, который только был у него в кармане.

- Так вы сзади? Они правду стало быть говорят про вас, что вы нападаете исподтишка? - обернулся опять Алеша, но на этот раз мальчишка с остервенением опять пустил в Алешу камнем и уже прямо в лицо, но Алеша успел заслониться вовремя, и камень ударил его в локоть.

- Как вам не стыдно! Что я вам сделал? - вскричал он. Мальчик молча и задорно ждал лишь одного, что вот теперь Алеша уж несомненно на него бросится; видя же, что тот даже и теперь не бросается, совершенно озлился как зверенок: он сорвался с места и кинулся сам на Алешу, и не успел тот шевельнуться, как злой мальчишка, нагнув голову и схватив обеими руками его левую руку, больно укусил ему средний ее палец. Он впился в него зубами и секунд десять не выпускал его. Алеша закричал от боли, дергая изо всей силы палец. Мальчик выпустил его наконец и отскочил на прежнюю дистанцию. Палец был больно прокушен, у самого ногтя, глубоко, до кости; полилась кровь. Алеша вынул платок и крепко обернул в него раненую руку. Обертывал он почти целую минуту. Мальчишка все это время стоял и ждал. Наконец Алеша поднял на него свой тихий взор.

- Ну хорошо, - сказал он, - видите, как вы меня больно укусили, ну и довольно ведь, так ли? Теперь скажите, что я вам сделал?

Мальчик посмотрел с удивлением.

- Я хоть вас совсем не знаю и в первый раз вижу, - все так же спокойно продолжал Алеша, - но не может быть, чтоб я вам ничего не сделал, - не стали бы вы меня мучить даром. Так что же я сделал и чем я виноват пред вами, скажите?

Вместо ответа мальчик вдруг громко заплакал, в голос, и вдруг побежал от Алешы. Алеша пошел тихо вслед за ним на Михайловскую улицу и долго еще видел он, как бежал вдали мальчик, не умаляя шагу, не оглядываясь и верно все так же в голос плача. Он положил непременно, как только найдется время, разыскать его и разъяснить эту чрезвычайно поразившую его загадку. Теперь же ему было некогда.

IV. У ХОХЛАКОВЫХ.

Скоро подошел он к дому г-жи Хохлаковой, к дому каменному, собственному, двухэтажному, красивому, из лучших домов в нашем городке. Хотя г-жа Хохлакова проживала большею частью в другой губернии, где имела поместье, или в Москве, где имела собственный дом, но и в нашем городке у нее был свой дом, доставшийся от отцов и дедов. Да и поместье ее, которое имела она в нашем уезде, было самое большое изо всех трех ее поместий, а между тем приезжала она доселе в нашу губернию весьма редко. Она выбежала к Алеше еще в прихожую.

- Получили, получили письмо о новом чуде? - быстро, нервно заговорила она.

- Да, получил.

- Распространили, показали всем? Он матери сына возвратил!

- Он сегодня умрет, - сказал Алеша.

- Слышала, знаю, о как я желаю с вами говорить! С вами или с кем-нибудь

обо всем этом. Нет, с вами, с вами! И как жаль, что мне никак нельзя его видеть! Весь город возбужден, все в ожидании. Но теперь... знаете ли, что у нас теперь сидит Катерина Ивановна?

- Ах, это счастливо! - воскликнул Алеша. - Вот я с ней и увижусь у вас, она вчера велела мне непременно придти к ней сегодня.

- Я все знаю, все знаю. Я слышала все до подробности а том, что было у ней вчера... и обо всех этих ужасах с этою... тварью. C'est tragique, и я бы на ее месте, - я не знаю, что б я сделала на ее месте! Но и брат-то ваш, Дмитрий-то Федорович ваш, каков - о боже! Алексей Федорович, я сбиваюсь, представьте: там теперь сидит ваш брат, то-есть не тот, не ужасный вчерашний, а другой, Иван Федорович, сидит и с ней говорит: разговор у них торжественный... И если бы вы только поверили, что между ними теперь, происходит, - то это ужасно, это, я вам скажу, надрыв, это ужасная сказка, которой поверить ни за что нельзя: оба губят себя неизвестно для чего, сами знают про это и сами наслаждаются этим. Я вас ждала! Я вас жаждала! Я, главное, этого вынести не могу. Я сейчас вам все расскажу, но теперь другое и уже самое главное, - ах, ведь я даже и забыла, что это самое главное: скажите, почему с Lise истерика? только что она услышала, что вы подходите, и с ней тотчас же началась истерика!

- Мама, это с вами теперь истерика, а не со мной, - прошептал вдруг в щелочку голосок Lise из боковой комнаты, Щелочка была самая маленькая, а голосок надрывчатый, точь в-точь такой, когда ужасно хочется засмеяться, но изо всех сил перемагаешь смех. Алеша тотчас же заметил эту щелочку, и наверно Lise со своих кресел на него из нее выглядывала, но этого уж он разглядеть не мог.

- Не мудрено, Lise, не мудрено... от твоих же капризов и со мной истерика будет, а впрочем она так больна, Алексей Федорович, она всю ночь была так больна, в жару, стонала! Я насилу дождалась утра и Герценштубе. Он говорит, что ничего не может понять и что надо обождать. Этот Герценштубе всегда придет и говорит, что ничего не может понять. Как только вы подошли к дому, она вскрикнула и с ней случился припадок, и приказала себя сюда в свою прежнюю комнату перевезть...

- Мама, я совсем не знала, что он подходит, я вовсе не от него в эту комнату захотела переехать.

- Это уж неправда, Lise, тебе Юлия прибежала сказать, что Алексей Федорович идет, она у тебя на сторожах стояла.

- Милый голубчик мама, это ужасно неостроумно с вашей стороны. А если хотите поправиться и сказать сейчас что-нибудь очень умное, то скажите, милая мама, милостивому государю вошедшему Алексею Федоровичу, что он уже тем одним доказал, что не обладает остроумием, что решился придти к нам сегодня после вчерашнего и несмотря на то, что над ним все смеются.

- Lise, ты слишком много себе позволяешь, и уверяю тебя, что я наконец прибегну к мерам строгости. Кто ж над ним смеется, я так рада, что он пришел, он мне нужен, совсем необходим. Ох, Алексей Федорович, я чрезвычайно несчастна!

- Да что ж такое с вами, мама-голубчик?

- Ах, эти твои капризы, Lise, непостоянство, твоя болезнь, эта ужасная ночь в жару, этот ужасный и вечный Герценштубе, главное вечный, вечный и вечный! И наконец все, все... И наконец даже это чудо! О, как поразило, как потрясло меня это чудо, милый Алексей Федорович! И там эта трагедия теперь в гостиной, которую я не могу перенести, не могу, я вам заранее объявляю, что не могу. Комедия может быть, а не трагедия. Скажите, старец Зосима еще проживет до завтра, проживет? О боже мой! что со мной делается, я поминутно закрываю глаза и вижу, что все вздор, все вздор.

- Я бы очень вас попросил, - перебил вдруг Алеша, - дать мне какую-нибудь чистую тряпочку, чтобы завязать палец. Я очень поранил его, и он у меня мучительно теперь болит.

Алеша развернул свой укушенный палец. Платок был густо замаран кровью. Г-жа Хохлакова вскрикнула и зажмурила глаза.

- Боже, какая рана, это ужасно! Но Lise как только увидела в щелку палец Алеши, тотчас со всего размаха отворила дверь.

- Войдите, войдите ко мне сюда, - настойчиво и повелительно закричала она, - теперь уж без глупостей! О господи, что ж вы стояли и молчали такое время? Он мог истечь кровью, мама! Где это вы, как это вы? Прежде всего

воды, воды! Надо рану промыть, просто опустить в холодную воду, чтобы боль перестала, и держать, все держать... Скорей, скорей воды, мама, в полоскательную чашку. Да скорее же, – нервно закончила она. Она была в совершенном испуге; рана Алеши страшно поразила ее.

– Не послать ли за Герценштубе? – воскликнула было г-жа Хохлакова.

– Мама, вы меня убьете. Ваш Герценштубе приедет и скажет, что не может понять! Воды, воды! Мама, ради бога сходите сами, поторопите Юлию, которая где-то там завязла и никогда не может скоро придти! Да скорее же, мама, иначе я умру...

– Да это ж пустяки! – воскликнул Алеша, испугавшись их испуга.

Юлия прибежала с водой. Алеша опустил в воду палец.

– Мама, ради бога, принесите корпию; корпию и этой едкой мутной воды для порезов, ну как ее зовут! У нас есть, есть, есть... Мама, вы сами знаете, где стклянка, в спальне вашей в шкапике направо, там большая стклянка и корпия...

– Сейчас принесу все, Lise, только не кричи и не беспокойся. Видишь, как твердо Алексей Федорович переносит свое несчастье. И где это вы так ужасно могли поранить себя, Алексей Федорович?

Г-жа Хохлакова поспешно вышла. Lise того только и ждала.

– Прежде всего отвечайте на вопрос, – быстро заговорила она Алеше: – где это вы так себя изволили поранить? А потом уж я с вами буду говорить совсем о другом. Ну!

Алеша, инстинктом чувствуя, что для нее время до возвращения мамаша дорого, – поспешно, много выпустив и сократив, но однако точно и ясно, передал ей о загадочной встрече со школьниками. Выслушав его, Lise всплеснула руками:

– Ну можно ли, можно ли вам, да еще в этом платье связываться с мальчишками! – гневно вскричала она, как будто даже имея какое-то право над ним, – да вы сами после того мальчик, самый маленький мальчик, какой только может быть! Однако вы непременно разузнайте мне как-нибудь про этого скверного мальчишку и мне все расскажите, потому что тут какой-то секрет. Теперь второе, но прежде вопрос: можете ли вы. Алексей Федорович, несмотря на страдание от боли, говорить о совершенных пустяках, но говорить рассудительно?

– Совершенно могу, да и боли я такой уже теперь не чувствую.

– Это оттого, что ваш палец в воде. Ее нужно сейчас же переменить, потому что она мигом нагреется. Юлия, мигом принеси кусок льду из погреба и новую полоскательную чашку с водой. Ну, теперь она ушла, я о деле: мигом, милый Алексей Федорович, извольте отдать мне мое письмо, которое я вам прислала вчера, – мигом, потому что сейчас может придти маменька, а я не хочу...

– Со мной нет письма.

– Неправда, оно с вами. Я так и знала, что вы так ответите. Оно у вас в этом кармане. Я так раскаивалась в этой глупой шутке всю ночь. Воротите же письмо сейчас, отдайте!

– Оно там осталось.

– Но вы не можете же меня считать за девочку, за маленькую-маленькую девочку, после моего письма с такую глупую шуткой! Я прошу у вас прощения за глупую шутку, но письмо вы непременно мне принесите, если уж его нет у вас в самом деле, – сегодня же принесите, непременно, непременно!

– Сегодня никак нельзя, потому что я уйду в монастырь и не приду к вам дня два, три, четыре может быть, потому что старец Зосима...

– Четыре дня, экой вздор! Послушайте, вы очень надо мной смеялись?

– Я ни капли не смеялся.

– Почему же?

– Потому что я совершенно всему поверил.

– Вы меня оскорбляете!

– Нисколько. Я как прочел, то тотчас и подумал, что этак все и будет, потому что я, как только умрет старец Зосима, сейчас должен буду выйти из монастыря. Затем я буду продолжать курс и сдать экзамен, а как придет законный срок, мы и женимся. Я вас буду любить. Хоть мне и некогда было еще думать, но я подумал, что лучше вас жены не найду, а мне старец велит жениться...

– Да ведь я урод, меня на креслах возят! – засмеялась Лиза с

зардевшимся на щеках румянцем.

- Я вас сам буду в кресле возить, но я уверен, что вы к тому сроку выздоровеете.

- Но вы сумасшедший, - нервно проговорила Лиза, - из такой шутки и вдруг вывели такой вздор!.. Ах, вот и мамаша, может быть, очень кстати. Мама, как вы всегда запоздаете, можно ли так долго! Вот уж Юлия и лед несет!

- Ах, Lise, не кричи, главное, - ты не кричи. У меня от этого крику... Что ж делать, коли ты сама корпию в другое место засунула... Я искала, искала... Я подозреваю, что ты это нарочно сделала.

- Да ведь не могла же я знать, что он придет с укушенным пальцем, а то может быть вправду нарочно бы сделала. Ангел мама, вы начинаете говорить чрезвычайно остроумные вещи.

- Пусть остроумные, но какие чувства, Lise, насчет пальца Алексея Федоровича и всего этого! Ох, милый Алексей Федорович, меня убивают не частности, не Герценштубе какой-нибудь, а все вместе, все в целом, вот чего я не могу вынести.

- Довольно, мама, довольно о Герценштубе, - весело смеялась Лиза, - давайте же скорей корпию, мама, и воду. Это просто свинцовая примочка, Алексей Федорович, я теперь вспомнила имя, но это прекрасная примочка. Мама, вообразите себе, он с мальчишками дорогой подрался на улице, и это мальчишка ему укусил, ну не маленький ли, не маленький ли он сам человек, и можно ли ему, мама, после этого жениться, потому что он, вообразите себе, он хочет жениться, мама. Представьте себе, что он женат, ну не смех ли, не ужасно ли это?

И Lise все смеялась своим нервным мелким смешком, лукаво смотря на Алешу.

- Ну, как же жениться, Lise, и с какой стати это, и совсем это тебе некстати... тогда как этот мальчик может быть бешеный.

- Ах, мама! Разве бывают бешеные мальчишки?

- Почему ж не бывают, Lise, точно я глупость сказала. Вашего мальчика укусила бешеная собака, и он стал бешеный мальчик и вот кого-нибудь и укусит около себя в свою очередь. Как она вам хорошо перевязала, Алексей Федорович, я бы никогда так не сумела. Чувствуете вы теперь боль?

- Теперь очень небольшую.

- А не боитесь ли вы воды? - спросила Lise.

- Ну, довольно, Lise, я может быть в самом деле очень поспешно сказала про бешеного мальчика, а ты уж сейчас и вывела. Катерина Ивановна только что узнала, что вы пришли, Алексей Федорович, так и бросилась ко мне, она вас жаждет, жаждет.

- Ах, мама! Подите одна туда, а он не может пойти сейчас, он слишком страдает.

- Совсем не страдаю, я очень могу пойти... - сказал Алеша.

- Как! Вы уходите? Так-то вы? Так-то вы?

- Что ж? Ведь я когда кончу там, то опять приду, и мы опять можем говорить сколько вам будет угодно. А мне очень хотелось бы видеть поскорее Катерину Ивановну, потому что я во всяком случае очень хочу, как можно скорей воротиться сегодня в монастырь.

- Мама, возьмите его и скорее уведите. Алексей Федорович, не трудитесь заходить ко мне после Катерины Ивановны, а ступайте прямо в ваш монастырь, туда вам и дорога! А я спать хочу, я всю ночь не спала.

- Ах, Lise, это только шутки с твоей стороны, но что если бы ты в самом деле заснула! - воскликнула г-жа Хохлакова.

- Я не знаю, чем я... Я останусь еще минуты три, если хотите, даже пять, - пробормотал Алеша.

- Даже пять! Да уведите же его скорее, мама, это монстр!

- Lise, ты с ума сошла. Уйдемте, Алексей Федорович, она слишком капризна сегодня, я ее раздражать боюсь. О, горе с нервной женщиной, Алексей Федорович! А ведь в самом деле она может быть при вас спать захотела. Как это вы так скоро нагнали на нее сон, и как это счастливо!

- Ах мама, как вы мило стали говорить, целую вас, мамочка, за это.

- И я тебя тоже, Lise. Послушайте, Алексей Федорович, - таинственно и важно быстрым шепотом заговорила г-жа Хохлакова, уходя с Алешей, - я вам ничего не хочу внушать, ни подымать этой завесы, но вы войдите и сами увидите все, что там происходит, это ужас, это самая фантастическая комедия:

она любит вашего брата Ивана Федоровича и уверяет себя изо всех сил, что любит вашего брата Дмитрия Федоровича. Это ужасно! Я войду вместе с вами и, если не прогонят меня, дожусь конца.

V. НАДРЫВ В ГОСТИНОЙ.

Но в гостиной беседа уже оканчивалась; Катерина Ивановна была в большом возбуждении, хотя и имела вид решительный. В минуту когда вошли Алеша и г-жа Хохлакова, Иван Федорович вставал, чтоб уходить. Лицо его было несколько бледно, и Алеша с беспокойством поглядел на него. Дело в том, что тут для Алеша разрешалось теперь одно из его сомнений, одна беспокойная загадка, с некоторого времени его мучившая. Еще с месяц назад ему уже несколько раз, и с разных сторон внушали, что брат Иван любит Катерину Ивановну и, главное, действительно намерен "отбить" ее у Мити. До самого последнего времени это казалось Алеше чудовищным хотя и беспокоило его очень. Он любил обоих братьев и страшился между ними такого соперничества. Между тем сам Дмитрий Федорович вдруг прямо объявил ему вчера, что даже рад соперничеству брата Ивана и что это ему же, Дмитрию во многом поможет. Чему же поможет? Жениться ему на Грушеньке? Но дело это считал Алеша отчаянным и последним. Кроме всего этого, Алеша несомненно верил до самого вчерашнего вечера, что Катерина Ивановна сама до страсти и упорно любит брата его Дмитрия, - но лишь до вчерашнего вечера верил. Сверх того ему почему-то все мерещилось, что она не может любить такого, как Иван, а любит его брата Дмитрия, и именно таким, каким он есть, несмотря на всю чудовищность такой любви. Вчера же в сцене с Грушенькой ему вдруг как бы померещилось иное. Слово "надрыв", только что произнесенное г-жой Хохлаковой, заставило его почти вздрогнуть, потому что именно в эту ночь, полупроснувшись на рассвете, он вдруг, вероятно отвечая своему сновидению, произнес: "Надрыв, надрыв!" Снилось же ему всю ночь вчерашняя сцена у Катерины Ивановны. Теперь вдруг прямое и упорное уверение г-жи Хохлаковой, что Катерина Ивановна любит брата Ивана и только сама, нарочно, из какой-то игры, из "надрыва", обманывает себя и сама себя мучит напускною любовью своею к Дмитрию из какой-то будто бы благодарности, - поразило Алешу: "Да, может быть и в самом деле полная правда именно в этих словах!" Но в таком случае, каково же положение брата Ивана? Алеша чувствовал каким-то инстинктом, что такому характеру как Катерина Ивановна надо было властвовать, а властвовать она могла бы лишь над таким, как Дмитрий, и отнюдь не над таким как Иван. Ибо Дмитрий только (положим, хоть в долгий срок) мог бы смириться наконец пред нею "к своему же счастью" (чего даже желал бы Алеша), но Иван нет, Иван не мог бы пред нею смириться, да и смирение это не дало бы ему счастья. Такое уж понятие Алеша почему-то невольно составил себе об Иване. И вот все эти колебания и соображения пролетели и мелькнули в его уме в тот миг, когда он вступал теперь в гостиную. Промелькнула и еще одна мысль: вдруг и неудержимо: "А что, если она и никого не любит, ни того ни другого?" Замечу, что Алеша как бы стыдился таких своих мыслей и упрекал себя в них, когда они в последний месяц, случалось, приходили ему: "Ну что я понимаю в любви и в женщинах и как могу я заключать такие решения", с упреком себе думал он после каждой подобной своей мысли или догадки. А между тем нельзя было не думать. Он понимал инстинктом, что теперь, например, в судьбе двух братьев его это соперничество слишком важный вопрос и от которого слишком много зависит. "Один гад съест другую гадину", произнес вчера брат Иван, говоря в раздражении про отца и брата Дмитрия. Стало быть брат Дмитрий в глазах его гад и может быть давно уже гад? Не с тех ли пор, как узнал брат Иван Катерину Ивановну? Слова эти конечно вырвались у Ивана вчера невольно, но тем важнее, что невольно. Если так, то какой же тут мир? Не новые ли, напротив, поводы к ненависти и вражде в их семействе? А главное, кого ему, Алеше, жалеть? И что каждому пожелать? Он любит их обоих, но что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно было

совсем потеряться, а сердце Алеши не могло выносить неизвестности, потому что характер любви его был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог, возлюбив, он тотчас же принимался и помогать. А для этого надо было поставить цель, надо твердо было знать, что каждому из них хорошо и нужно, а утвердившись в верности цели, естественно каждому из них и помочь. Но вместо твердой цели во всем была лишь неясность и путаница. "Надрыв" произнесено теперь! Но что он мог понять хотя бы даже в этом надрыве? Первого даже слова во всей этой путанице он не понимает!

Увидав Алешу, Катерина Ивановна быстро и с радостью проговорила Ивану Федоровичу, уже вставшему со своего места, чтоб уходить:

- На минутку! Оставайтесь еще на одну минуту. Я хочу услышать мнение вот этого человека, которому я всем существом моим доверяю. Катерина Осиповна, не уходите и вы, - прибавила она, обращаясь к г-же Хохлаковой. Она усадила Алешу подле себя, а Хохлакова села напротив, рядом с Иваном Федоровичем.

- Здесь все друзья мои, все, кого я имею в мире, милые друзья мои, - горячо начала она голосом, в котором дрожали искренние страдальческие слезы, и сердце Алеши опять разом повернулось к ней. - Вы, Алексей Федорович, вы были вчера свидетелем этого... ужаса и видели, какова я была. Вы не видали этого, Иван Федорович, он видел. Что он подумал обо мне вчера - не знаю, знаю только одно, что повторись то же самое сегодня, сейчас, и я высказала бы такие же чувства, какие вчера, - такие же чувства, такие же слова и такие же движения. Вы помните мои движения, Алексей Федорович, вы сами удержали меня в одном из них... (Говоря это, она покраснела, и глаза ее засверкали.) Объявляю вам, Алексей Федорович, что я не могу ни с чем примириться. Слушайте, Алексей Федорович, я даже не знаю, люблю ли я его теперь. Он мне стал жалок, это плохое свидетельство любви. Если бы любила его, продолжала любить, то я может быть не жалела бы его теперь, а напротив ненавидела...

Голос ее задрожал, и слезинки блеснули на ее ресницах. Алеша вздрогнул внутри себя: эта девушка правдива и искренна. - подумал он, - и... и она более не любит Дмитрия!

- Это так! так! - воскликнула-было г-жа Хохлакова.

- Подождите, милая Катерина Осиповна, я не сказала главного, не сказала окончательного, что решила в эту ночь. Я чувствую, что может быть решение мое ужасно, - для меня, но предчувствую, что я уже не переменю его ни за что, ни за что, во всю жизнь мою, так и будет. Мой милый, мой добрый, мой всегдашний и великодушный советник и глубокий сердцеведец, и единственный друг мой, какого я только имею в мире, Иван Федорович, одобряет меня во всем и хвалит мое решение... Он его знает.

- Да, я одобряю его, - тихим, но твердым голосом произнес Иван Федорович.

- Но я желаю, чтоб и Алеша (ах, Алексей Федорович простите, что я вас назвала Алешей просто), - я желаю, чтоб и Алексей Федорович сказал мне теперь же при обоих друзьях моих - права я или нет? У меня инстинктивное предчувствие, что вы, Алеша, брат мой милый (потому что вы брат мой милый), - восторженно проговорила она опять, схватив его холодную руку своею горячею рукой, - я предчувствую, что ваше решение, ваше одобрение, несмотря на все муки мои, подаст мне спокойствие, потому что после ваших слов я затихну и примирюсь, - я это предчувствую!

- Я не знаю, о чем вы спросите меня, - выговорил с зардевшимся лицом Алеша, - я только знаю, что я вас люблю и желаю вам в эту минуту счастья больше, чем себе самому!.. Но ведь я ничего не знаю в этих делах... - вдруг зачем-то поспешил он прибавить.

- В этих делах, Алексей Федорович, в этих делах теперь главное - честь и долг, и не знаю что еще, но нечто высшее. даже может быть высшее самого долга. Мне сердце рассказывает про это непреодолимое чувство и оно непреодолимо влечет меня. Все впрочем в двух словах, я уже решила: Если даже он и женится на той... твари (начала она торжественно), которой я никогда, никогда простить не могу, то я все-таки не оставлю его! От этих пор я уже никогда, никогда не оставлю его! - произнесла она с каким-то надрывом какого-то бледного вымученного восторга. - То-есть не то, чтоб я таскалась за ним, попадалась ему поминутно на глаза, мучила его - о нет, я уеду в другой город, куда хотите, но я всю жизнь, всю жизнь мою буду следить за ним не уставая. Когда же он станет с тою несчастен, а это непременно и сейчас же будет, то пусть придет ко мне и он встретит друга, сестру... Только сестру

конечно и это навеки так, но он убедится наконец, что эта сестра действительно сестра его, любящая и всю жизнь ему пожертвовавшая. Я добьюсь того, я настою на том, что наконец он узнает меня и будет передавать мне все не стыдясь! – воскликнула она как бы в исступлении. – Я буду богом его, которому он будет молиться, – и это по меньшей мере он должен мне за измену свою и за то, что я перенесла чрез него вчера. И пусть же он видит во всю жизнь свою, что я всю жизнь мою буду верна ему и моему данному ему раз слову, несмотря на то, что он был неверен и изменил. Я буду... Я обращусь лишь в средство к его счастью (или как это сказать), в инструмент, в машину для его счастья, и это на всю жизнь, на всю жизнь, и чтоб он видел это впредь всю жизнь свою! Вот все мое решение! Иван Федорович в высшей степени одобряет меня.

Она задыхалась. Она может быть гораздо достойнее, искуснее и натуральнее хотела бы выразить свою мысль, но вышло слишком поспешно и слишком обнаженно. Много было молодой невыдержки, многое отзвучало лишь вчерашним раздражением, потребностью погордиться, это она почувствовала сама. Лицо ее как-то вдруг омрачилось, выражение глаз стало нехорошо. Алеша тотчас же заметил все это и в сердце его шевельнулось сострадание. А тут как раз подбавил и брат Иван.

– Я высказал только мою мысль, – сказал он. – У всякой другой вышло бы все это надломленно, вымученно, а у вас – нет. Другая была бы неправа, а вы правы. Я не знаю, как это мотивировать, но я вижу, что вы искренни в высшей степени, а потому вы и правы...

– Но ведь это только в эту минуту... А что такое эта минута? Всего лишь вчерашнее оскорбление, – вот что значит эта минута! – не выдержала вдруг г-жа Хохлакова, очевидно не желавшая вмешиваться, но не удержавшаяся и вдруг сказавшая очень верную мысль.

– Так, так, – перебил Иван, с каким-то вдруг азартом и видимо озлясь, что его перебили, – так, но у другой эта минута лишь вчерашнее впечатление, и только минута, а с характером Катерины Ивановны эта минута – протянется всю ее жизнь. Что для других лишь обещание, то для нее вековечный, тяжелый, угрюмый может быть, но неустанный долг. И она будет питаться чувством этого исполненного долга! Ваша жизнь, Катерина Ивановна, будет проходить теперь, в страдальческом созерцании собственных чувств, собственного подвига и собственного горя, но впоследствии страдание это смягчится, и жизнь ваша обратится уже в сладкое созерцание раз навсегда исполненного твердого и гордого замысла, действительно в своем роде гордого, во всяком случае отчаянного, но побежденного вами, и это сознание доставит вам наконец самое полное удовлетворение и примирит вас со всем остальным...

Проговорил он это решительно с какою-то злобой, видимо нарочно, и даже может быть не желая скрыть своего намерения, то-есть, что говорит нарочно и в насмешку.

– О боже, как это все не так! – воскликнула опять г-жа Хохлакова.

– Алексей Федорович, скажите же вы! Мне мучительно надо знать, что вы мне скажете! – воскликнула Катерина Ивановна и вдруг залилась слезами. Алеша встал с дивана.

– Это ничего, ничего! – с плачем продолжала она, – это от расстройства, от сегодняшней ночи, но подле таких двух друзей, как вы и брат ваш, я еще чувствую себя крепко... потому что знаю... вы оба меня никогда не оставите.

– К несчастью, я завтра же может быть должен уехать в Москву и надолго оставить вас... И это к несчастью неизменно... – проговорил вдруг Иван Федорович.

– Завтра, в Москву! – перекопилось вдруг все лицо Катерины Ивановны, – но... но боже мой, как это счастливо! – вскричала она в один миг совсем изменившимся голосом, и в один миг прогнав свои слезы, так что и следа не осталось. Именно в один миг произошла в ней удивительная перемена чрезвычайно изумившая Алешу: вместо плакавшей сейчас в каком-то надрыве своего чувства бедной оскорбленной девушки, явилась вдруг женщина, совершенно владеющая собой и даже чем-то чрезвычайно довольная, точно вдруг чему-то обрадовавшаяся.

– О, не то счастливо, что я вас покидаю, уж разумеется нет, – как бы поправились она вдруг с милою светскою улыбкой, – такой друг как вы не может этого подумать; я слишком напротив несчастна, что вас лишусь (она вдруг стремительно бросилась к Ивану Федоровичу и, схватив его за обе руки, с

горячим чувством пожалала их); но вот что счастливо, это то, что вы сами, лично, в состоянии будете передать теперь в Москве, тетушке и Агаше, все мое положение, весь теперешний ужас мой, в полной откровенности с Агашей и щадя милую тетушку, так как сами сумеете это сделать. Вы не можете себе представить, как я была вчера и сегодня утром несчастна, недоумеваю, как я напишу им это ужасное письмо... потому что в письме этого никак, ни за что не передашь... Теперь же мне легко будет написать, потому что вы там у них будете налицо и все объясните. О, как я рада! Но я только этому рада, опять-таки поверьте мне. Сами вы мне конечно незаменимы... Сейчас же бегу напишу письмо, - заключила она вдруг и даже шагнула уже, чтобы выйти из комнаты.

- А Алеша-то? А мнение-то Алексея Федоровича, которое вам так непременно желалось выслушать? - вскричала г-жа Хохлакова. Язвительная и гневливая нотка прозвучала в ее словах.

- Я не забыла этого, - приостановилась вдруг Катерина Ивановна, - и почему вы так враждебны ко мне в такую минуту, Катерина Осиповна? - с горьким, горячим упреком произнесла она. - Что я сказала, то я и подтверждаю. Мне необходимо мнение его, мало того: мне надо решение его! Что он скажет, так и будет - вот до какой степени, напротив, я жажду ваших слов, Алексей Федорович... Но что с вами?

- Я никогда не думал, я не могу этого представить! - воскликнул вдруг Алеша горестно.

- Чего, чего?

- Он едет в Москву, а вы вскрикнули, что рады. - это вы нарочно вскрикнули! А потом тотчас стали объяснять, что вы не тому рады, а что напротив жалеете, что... теряете друга, - но и это вы нарочно сыграли... как на театре, в комедии сыграли!

- На театре? Как?... Что это такое? - воскликнула Катерина Ивановна в глубоком изумлении, вся вспыхнув и нахмутив брови.

- Да как ни уверяйте его, что вам жалко в нем друга, а все-таки вы настаиваете ему в глаза, что счастье в том, что он уезжает... - проговорил как-то совсем уже задыхаясь Алеша. Он стоял за столом и не садился.

- О чем вы, я не понимаю...

- Да я и сам не знаю... У меня вдруг как будто озарение... Я знаю, что я не хорошо это говорю, но я все-таки все скажу, - продолжал Алеша тем же дрожащим и пересекающимся голосом: - озарение мое в том, что вы брата Дмитрия может быть совсем не любите... с самого начала... Да и Дмитрий может быть не любит вас тоже вовсе... с самого начала... а только чтит... Я право не знаю, как я все это теперь смею, но надо же кому-нибудь правду сказать... потому что никто здесь правды не хочет сказать...

- Какой правды? - вскричала Катерина Ивановна, и что-то истерическое зазвенело в ее голосе.

- А вот какой, - пролепетал Алеша, как будто полетев с крыши; - позовите сейчас Дмитрия - я его найду, - и пусть он придет сюда и возьмет вас за руку, потом возьмет за руку брата Ивана и соединит ваши руки. Потому что вы мучаете Ивана, потому только, что его любите... а мучите потому, что Дмитрия надрывом любите... в неправду любите... потому что вверили себя так...

Алеша оборвался и замолчал.

- Вы... вы... вы маленький крошечный, вот вы кто! - и побледневшим уже лицом и скривившимися от злобы губами отрезала вдруг Катерина Ивановна. Иван Федорович вдруг засмеялся и встал с места. Шляпа была в руках его.

- Ты ошибся, мой добрый Алеша, - проговорил он с выражением лица, которого никогда еще Алеша у него не видел, - с выражением какой-то молодой искренности и сильного неудержимо откровенного чувства: - никогда Катерина Ивановна не любила меня! Она знала все время, что я ее люблю, хоть я и никогда не говорил ей ни слова о моей любви, - знала, но меня не любила. Другом тоже я ее не был ни разу, ни одного дня: гордая женщина в моей дружбе не нуждалась. Она держала меня при себе для беспрерывного мщения. Она мстила мне и на мне за все оскорбления, которые постоянно и всякую минуту выносила во весь этот срок от Дмитрия, оскорбления с первой встречи их... Потому что и самая первая встреча их осталась у ней на сердце как оскорбление. Вот каково ее сердце! Я все время только и делал, что выслушивал о любви ее к нему. Я теперь еду, но знайте, Катерина Ивановна, что вы действительно

любите только его. И по мере оскорблений его все больше и больше. Вот это и есть ваш надрыв. Вы именно любите его таким, каким он есть, вас оскорбляющим его любите. Если б он исправился, вы его тотчас забросили бы и разлюбили вовсе. Но вам он нужен, чтобы созерцать беспрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. И все это от вашей гордости. О, тут много унижения и унижения, но все это от гордости... Я слишком молод и слишком сильно любил вас. Я знаю, что это бы не надо мне вам говорить, что было бы больше достоинства с моей стороны просто выйти от вас; было бы и не так для вас оскорбительно. Но ведь я еду далеко и не приеду никогда. Это ведь навеки... Я не хочу сидеть подле надрыва... Впрочем я уже не умею говорить, все сказал... Прощайте, Катерина Ивановна, вам нельзя на меня сердиться, потому что я во сто раз более вас наказан: наказан уже тем одним, что никогда вас не увижу. Прощайте. Мне не надобно руки вашей. Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам в эту минуту мог простить.. Потом прощу, а теперь не надо руки.

Den Dank, Dame, begehrt ich nicht,

прибавил он с искривленною улыбкой, доказав впрочем совершенно неожиданно, что и он может читать Шиллера до заучивания наизусть, чему прежде не поверил бы Алеша. Он вышел из комнаты, даже не простившись и с хозяйкой, г-жой Хохлаковой. Алеша всплеснул руками.

- Иван, - крикнул он ему, как потерянный вслед, - воротись, Иван! Нет, нет, он теперь ни за что не воротится! - воскликнул он опять в горестном озарении, - но это я, я виноват, я начал! Иван говорил злобно, нехорошо. Несправедливо и злобно... Он должен опять придти сюда, воротиться, воротиться... - Алеша восклицал как полоумный.

Катерина Ивановна вдруг вышла в другую комнату.

- Вы ничего не наделали, вы действовали прелестно, как ангел, - быстро и восторженно зашептала горестному Алеше г-жа Хохлакова. - Я употреблю все усилия, чтоб Иван Федорович не уехал...

Радость сияла на ее лице к величайшему огорчению Алеши; но Катерина Ивановна вдруг вернулась. В руках ее были два радужные кредитные билета.

- Я имею к вам одну большую просьбу, Алексей Федорович, - начала она, прямо обращаясь к Алеше повидимому спокойным и ровным голосом, точно и в самом деле ничего сейчас не случилось. - Неделю, - да, кажется неделю назад, - Дмитрий Федорович сделал один горячий и несправедливый поступок, очень безобразный. Тут есть одно нехорошее место, один трактир. В нем он встретил этого отставного офицера, штабс-капитана этого, которого ваш батюшка употреблял по каким-то своим делам. Рассердившись почему-то на этого штабс-капитана, Дмитрий Федорович схватил его за бороду и при всех вывел в этом унижительном виде на улицу и на улице еще долго вел, и, говорят, что мальчик, сын этого штабс-капитана, который учится в здешнем училище, еще ребенок, увидав это, бежал все подле и плакал вслух и просил за отца и бросался ко всем и просил, чтобы защитили, а все смеялись. Простите, Алексей Федорович, я не могу вспомнить без негодования этого позорного его поступка... одного из таких поступков, на которые может решиться только один Дмитрий Федорович в своем гневе... и в страстях своих! Я и рассказать этого не могу, не в состоянии... Я сбиваюсь в словах. Я справлялась об этом обиженном и узнала, что он очень бедный человек. Фамилия его Снигирев. Он за что-то провинился на службе, его выключили, я не умею вам это рассказать, и теперь он с своим семейством, с несчастным семейством больных детей и жены, сумасшедшей кажется, впал в страшную нищету. Он уже давно здесь в городе, он что-то делает, писарем где-то был, а ему вдруг теперь ничего не платят. Я бросила взгляд на вас... то-есть я думала, - я не знаю, я как-то путаюсь, - видите, я хотела вас просить, Алексей Федорович, - добрейший мой Алексей Федорович, сходить к нему, отыскать предлог, войти к ним, то-есть к этому штабс-капитану, - о боже! как я сбиваюсь, - и деликатно, осторожно, - именно как только вы один сумеете сделать (Алеша вдруг покраснел) - суметь отдать ему это вспоможение, вот, двести рублей. Он наверно примет... то-есть договорить его принять... Или нет, как это? Видите ли, это не то, что плата ему за примирение, чтоб он не жаловался (потому что он кажется хотел жаловаться), а просто сочувствие, желание помочь, от меня, от меня, от невесты Дмитрия Федоровича, а не от него самого... Одним словом, вы

сумеете... Я бы сама поехала, но вы сумеете гораздо лучше меня. Он живет в Озерной улице, в доме мещанки Калмыковой... Ради бога, Алексей Федорович, сделайте мне это, а теперь... теперь я несколько... устала. До свиданья...

Она вдруг так быстро повернулась и скрылась опять за портьеру, что Алеша не успел и слова сказать, - а ему хотелось сказать. Ему хотелось просить прощения, обвинить себя, - ну что-нибудь сказать, потому что сердце его было полно, и выйти из комнаты он решительно не хотел без этого. Но г-жа Хохлакова схватила его за руку и вывела сама. В прихожей она опять остановила его, как и давеча.

- Гордая, себя борет, но добрая, прелестная, великодушная! - полупшепотом восклицала г-жа Хохлакова. - О как я ее люблю, особенно иногда, и как я всему, всему теперь вновь опять рада! Милый Алексей Федорович, вы ведь не знали этого: знайте же, что мы все, все - я, обе ее тетки, - ну все, даже Lise, вот уже целый месяц как мы только того и желаем, и молим, чтоб она разошлась с вашим любимцем Дмитрием Федоровичем, который ее знать не хочет и нисколько не любит, и вышла бы за Ивана Федоровича, образованного и превосходного молодого человека, который ее любит больше всего на свете. Мы ведь целый заговор тут составили, и я даже может быть не уезжаю лишь из-за этого...

- Но ведь она же плакала, опять оскорбленная! - вскричал Алеша.

- Не верьте слезам женщины, Алексей Федорович, - я всегда против женщин в этом случае, я за мужчин.

- Мама, вы его портите и губите, - послышался тоненький голосок Lise из-за двери.

- Нет, это я всему причиной, я ужасно виноват! - повторял неутешный Алеша в порыве мучительного стыда за свою выходку и даже закрывая руками лицо от стыда.

- Напротив вы поступили, как ангел, как ангел, я это тысячи тысяч раз повторить готова.

- Мама, почему он поступил как ангел, - послышался опять голосок Lise.

- Мне вдруг почему-то вообразилось, на все это глядя, - продолжал Алеша, как бы и не слыжав Лизы, - что она любит Ивана, вот я и сказал эту глупость... и что теперь будет!

- Да с кем, с кем? - воскликнула Lise, - мама, вы верно хотите умертвить меня. Я вас спрашиваю - вы мне не отвечаете.

В эту минуту вбежала горничная.

- С Катериной Ивановной худо... Оне плачут... истерика, бьются.

- Что такое, - закричала Lise, уже тревожным голосом. - Мама, это со мной будет истерика, а не с ней!

- Lise, ради бога не кричи, не убивай меня. Ты еще в таких летах, что тебе нельзя всего знать, что большие знают, прибегу все расскажу, что можно тебе сообщить. О боже мой! Я бегу, бегу... Истерика - это добрый знак, Алексей Федорович, это превосходно, что с ней истерика. Это именно так и надо. Я в этом случае всегда против женщин, против всех этих истерик и женских слез. Юлия, беги и скажи, что я лечу. А что Иван Федорович так вышел, так она сама виновата. Но он не уедет. Lise, ради бога не кричи! Ах да, ты не кричишь, это я кричу, прости свою мамашу, но я в восторге, в восторге, в восторге! А заметили вы, Алексей Федорович, каким молодым, молодым человеком Иван Федорович давеча вышел, сказал это все и вышел! Я думала, он такой ученый, академик, а он вдруг так горячо-горячо, откровенно и молодо, неопытно и молодо, и так это все прекрасно, прекрасно, точно вы... И этот стишок немецкий сказал, ну точно как вы! Но бегу, бегу. Алексей Федорович, спешите скорей по этому поручению и поскорей вернитесь. Lise, не надобно ли тебе чего? Ради бога не задерживай ни минуты Алексея Федоровича, он сейчас к тебе вернется...

Г-жа Хохлакова наконец убежала. Алеша, прежде чем идти, хотел было отворить дверь к Lise.

- Ни за что! - вскричала Lise, - теперь уж ни за что! Говорите так, сквозь дверь. За что вы в ангелы попали? Я только это одно и хочу знать.

- За ужасную глупость, Lise! Прощайте.

- Не смейте так уходить! - вскричала было Lise.

- Lise, у меня серьезное горе! Я сейчас ворочусь, но у меня большое, большое горе! И он выбежал из комнаты.

VI. НАДРЫВ В ИЗБЕ.

У него было действительно серьезное горе, из таких, какие он доселе редко испытывал. Он выскочил и "наглупил", - и в каком же деле: в любовных чувствах! "Но что я в этом понимаю, что я в этих делах разбирать могу?" - в сотый раз повторял он про себя, краснея, - "ох, стыд бы ничего, стыд только должное мне наказание, - беда в том, что несомненно теперь я буду причиной новых несчастий... А старец посылал меня, чтобы примирить и соединить. Так ли соединяют?" Тут он вдруг опять припомнил, как он "соединил руки", и страшно стыдно стало ему опять. "Хоть я сделал это все и искренно, но вперед надо быть умнее", заключил он вдруг и даже не улыбнулся своему заключению.

Поручение Катерины Ивановны было дано в Озерную улицу, а брат Дмитрий жил как раз тут по дороге, недалеко от Озерной улицы в переулке. Алеша решил зайти к нему во всяком случае прежде, чем к штабс-капитану, хоть и предчувствовал, что не застанет брата. Он подозревал, что тот может быть как-нибудь нарочно будет прятаться от него теперь, - но во что бы то ни стало надо было его разыскать. Время же уходило: мысль об отходившем старце ни на минуту, ни на секунду не оставляла его с того часа, как он вышел из монастыря.

В поручении Катерины Ивановны промелькнуло одно обстоятельство, чрезвычайно тоже его заинтересовавшее: когда Катерина Ивановна упомянула о маленьком мальчике, школьнике, сыне того штабс-капитана, который бежал, плача в голос, подле отца, - то у Алеши и тогда уже вдруг мелькнула мысль, что этот мальчик есть наверное тот давешний школьник, укусивший его за палец, когда он, Алеша, допрашивал его, чем он его обидел. Теперь уж Алеша был почти уверен в этом, сам не зная еще почему. Таким образом, увлекшись посторонними соображениями, он развлекся и решил не "думать" о сейчас наделанной им "беде", не мучить себя раскаянием. а делать дело, а там что будет, то и выйдет. На этой мысли он окончательно ободрился. Кстати завернув в переулок к брату Дмитрию и чувствуя голод, он вынул из кармана взятую у отца булку и съел дорогой. Это подкрепило его силы.

Дмитрия дома не оказалось. Хозяева домишка - старик столяр, его сын и старушка жена его - даже подозрительно посмотрели на Алешу. "Уж третий день, как не ночует, может куда и выбыл", - ответил старик на усиленные вопросы Алеши. Алеша понял, что он отвечает по данной инструкции. На вопрос его: "Не у Грушеньки ли он, и не у Фомы ли опять прячется" (Алеша нарочно пустил в ход эти откровенности), все хозяева даже пугливо на него посмотрели. "Любят его стало быть, руку его держат", подумал Алеша, "это хорошо".

Наконец он разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу, с грязным двором, посреди которого уединенно стояла корова. Вход был со двора в сени - налево из сеней жила старая хозяйка со старухой дочерью и кажется обе глухие. На вопрос его о штабс-капитане, несколько раз повторенный, одна из них, поняв наконец, что спрашивают жильцов, ткнула ему пальцем чрез сени, указывая на дверь в чистую избу. Квартира штабс-капитана действительно оказалась только простую избой. Алеша взялся было рукой за железную скобу, чтоб отворить дверь, как вдруг необыкновенная тишина за дверями поразила его. Он знал однако со слов Катерины Ивановны, что отставной штабс-капитан человек семейный: "Или спят все они, или может быть услышали, что я пришел и ждут, пока я отворю; лучше я сперва постучусь к ним", - и он постучал. Ответ послышался, но не сейчас, а секунд даже может быть десять спустя.

- Кто таков! - прокричал кто-то громким и усиленно сердитым голосом.

Алеша отворил тогда дверь, и шагнул чрез порог. Он очутился в избе, хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну чрез всю комнату была протянута веревка, на которой было развешено разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязанными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из

четырёх ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати справа виднелась лишь одна очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутою чрез веревку, протянутую поперек угла. За эту занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный, четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к срединному окошку. Все три окна, каждое в четыре мелкие, зеленые заплесневевшие стекла, были очень тусклы и наглухо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал надъеденный ломоть хлеба и сверх того находился полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на донушке. Возле левой кровати на стуле помещалась женщина, похожая на даму, одетая в ситцевое платье. Она была очень худа лицом, желтая; чрезвычайно впалые щеки ее свидетельствовали с первого раза о ее болезненном состоянии. Но всего более поразил Алешу взгляд бедной дамы, - взгляд чрезвычайно вопросительный и в то же время ужасно надменный. И до тех пор пока дама не заговорила сама и пока объяснялся Алеша с хозяином, она все время так же надменно и вопросительно переводила свои большие карие глаза с одного говорившего на другого. Подле этой дамы у левого окошка стояла молодая девушка с довольно некрасивым лицом, с рыженькими жиденькими волосами, бедно, хотя и весьма опрятно одетая. Она брезгливо осмотрела вошедшего Алешу. Направо, тоже у постели, сидело и еще одно женское существо. Это было очень жалкое создание, молодая тоже девушка, лет двадцати, но горбатая и безногая, с отсохшими, как сказали потом Алеше, ногами. Костыли ее стояли подле, в углу, между кроватью и стеной. Замечательно прекрасные и добрые глаза бедной девушки с какою-то спокойною кротостью поглядели на Алешу. За столом, кончая яичницу, сидел господин лет сорока пяти, невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькою редкою бородкой, весьма похожею на растрепанную мочалку (это сравнение и особенно слово "мочалка" так и сверкнули почему-то с первого же взгляда в уме Алешы, он это потом припомнил). Очевидно этот самый господин и крикнул из-за двери: кто таков! так как другого мужчины в комнате не было. Но когда Алеша вошел, он словно сорвался со скамьи, на которой сидел за столом, и, наскоро обтираясь дырявою салфеткой, подлетел к Алеше.

- Монах на монастырь просит, знал к кому придти! - громко между тем проговорила стоявшая в левом углу девица.

Но господин, подбежавший к Алеше, мигом повернулся к ней на каблуках и взволнованным срывающимся каким-то голосом ей ответил:

- Нет-с, Варвара Николавна, это не то-с, не угадали-с! Позвольте спросить в свою очередь, - вдруг опять повернулся он к Алеше, - что побудило вас-с посетить... эти недра-с?

Алеша внимательно смотрел на него, он в первый раз этого человека видел. Было в нем что-то угловатое, спешащее и раздражительное. Хотя он очевидно сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость и в то же время, - странно это было, - видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя. Или еще лучше на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите. В речах его и в интонации довольно пронзительного голоса слышался какой-то юродливый юмор, то злой, то робеющий, не выдерживающий тона и срывающийся. Вопрос о "недрах" задал он как бы весь дрожа, выпучив глаза и подскочив к Алеше до того в упор, что тот машинально сделал шаг назад. Одет был этот господин в темное, весьма плохое, какое-то нанковое пальто, заштопанное и в пятнах. Панталоны на нем были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи, смятые снизу и сбившиеся оттого наверх, точно он из них как маленький мальчик вырос.

- Я... Алексей Карамазов... - проговорил было в ответ Алеша.

- Отменно умею понимать-с, - тотчас же отрезал господин, давая знать, что ему и без того известно, кто он такой. - Штабс я капитан-с Снегирев-с, в свою очередь, но все же желательно узнать, что именно побудило...

- Да я так только зашел. Мне в сущности от себя хотелось бы вам сказать одно слово... Если только позволите...

- В таком случае вот и стул-с, извольте взять место-с. Это в древних

комедиях говорили: "извольте взять место"... - и штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул (простой мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый) и поставил его чуть не по середине комнаты; затем, схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алеши, попрежнему к нему в упор и так, что колени их почти соприкасались вместе.

- Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Слово-ер-с приобретается в унижении.

- Это так точно, - усмехнулся Алеша, - только невольно приобретается или нарочно?

- Видит бог, невольно. Все не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшею силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем однако мог возбудить столь любопытства, ибо живу в обстановке, невозможной для гостеприимства.

- Я пришел... по тому самому делу...

- По тому самому делу? - нетерпеливо перервал штабс-капитан.

- По поводу той встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем, - неловко отрезал Алеша.

- Какой же это встречи-с? Это уж не той ли самой-с? Значит насчет мочалки, банной мочалки? - надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжались в ниточку.

- Какая это мочалка? - пробормотал Алеша.

- Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел! - крикнул знакомый уже Алеше голосок давешнего мальчика из-за занавески в углу. - Это я ему давеча палец укусил! - Занавеска отдернулась, и Алеша увидел давешнего врага своего, в углу, под образами, на прилаженной на лавке и на стуле постельке. Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньким ватным одеяльцем. Очевидно был нездоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу: "Дома, дескать, теперь не достанешь".

- Какой такой палец укусил? - привскочил со стула штабс-капитан. - Это вам он палец укусил-с?

- Да, мне. Давеча он на улице с мальчиками камнями перебрасывался; они в него шестеро кидают, а он один. Я подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я спросил: что я ему сделал? Он вдруг бросился и больно укусил мне палец, не знаю за что.

- Сейчас высеку-с! Сею минутой высеку-с, - совсем уже вскочил со стула штабс-капитан.

- Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал... - Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он кажется теперь и болен...

- А вы думали я высеку-с? Что я Илюшечку возьму да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения? Скоро вам это надо-с? - проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алеше с таким жестом, как будто хотел на него броситься. - Жалею, сударь, о вашем пальчике, но не хотите ли - я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца, сейчас же на ваших глазах, для вашего справедливого удовлетворения, вот этим самым ножом оттяпаю. Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно-с для утоления жажды мщения-с, пятого не потребуете?.. - Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в исступлении.

- Я, кажется, теперь все понял. - тихо и грустно ответил Алеша, продолжая сидеть. - Значит ваш мальчик - добрый мальчик, любит отца и бросился на меня как на брата вашего обидчика... Это я теперь понимаю, - повторил он раздумывая. - Но брат мой Дмитрий Федорович раскаивается в своем поступке, я знаю это, и если только ему возможно будет придти к вам, или всего лучше свидеться с вами опять в том самом месте, то он попросит у вас при всех прощения... если вы пожелаете.

- То-есть вырвал бородавку и попросил извинения... Все дескать закончил и удовлетворил, так ли-с?

- О, нет, напротив, он сделает все, что вам будет угодно и как вам будет угодно!

- Так что если б я попросил его светлость стать на коленки предо мной в этом самом трактире-с, - "Столичный город" ему наименование, - или на площади-с, так он и стал бы ?

- Да, он станет и на колени.

- Пронзили-с. Прослезили меня и пронзили-с. Слишком наклонен чувствовать. Позвольте же отреккомендоваться вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын, - мой помет-с. Умру я, кто-то их возлюбит-с? А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них возлюбит? Великое это дело устроил господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с...

- Ах это совершенная правда! - воскликнул Алеша.

- Да полноте наконец паясничать, какой-нибудь дурак придет, а вы срамите! - вскрикнула неожиданно девушка у окна, обращаясь к отцу с брезгливою и презрительною миной.

- Повремените немного, Варвара Николавна, позвольте выдержать направление, - крикнул ей отец хотя и повелительным тоном, но однако весьма одобрительно смотря на нее. - Это уж у нас такой характер-с, - повернулся он опять к Алеше.

"И ничего во всей природе

Благословить он не хотел".

То-есть надо бы в женском роде: благословить она не хотела-с. Но теперь позвольте вас представить и моей супруге: Вот-с Арина Петровна, дама без ног-с, лет сорока трех, ноги ходят, да немножко-с. Из простых-с. Арина Петровна, разгладьте черты ваши: вот Алексей Федорович Карамазов. Встаньте, Алексей Федорович, - он взял его за руку и с силой, которой даже нельзя было ожидать от него, вдруг его приподнял: - Выдаме представляетесь, надо встать-с. Не тот-с Карамазов, маменька, который... гм и так далее, а брат его, блистающий смиренными добродетелями. Позвольте, Арина Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать.

И он почтительно, нежно даже поцеловал у супруги ручку. Девица у окна с негодованием повернулась к сцене спиной, надменно вопросительное лицо супруги вдруг выразило необыкновенную ласковость.

- Здравствуйтесь, садитесь, г. Черномазов, - проговорила она.

- Карамазов, маменька, Карамазов (мы из простых-с), - подшепнул он снова.

- Ну Карамазов или как там, а я всегда Черномазов... - Садитесь же, и зачем он вас поднял? Дама без ног, он говорит, ноги-то есть, да распухли как ведра, а сама я высохла. Прежде-то я куды была толстая, а теперь вон словно иглу проглотила...

- Мы из простых-с, из простых-с, - подсказал еще раз капитан.

- Папа, ах папа, - проговорила вдруг горбатая девушка, доселе молчавшая на своем стуле, и вдруг закрыла глаза платком.

- Шут! - брякнула девица у окна.

- Видите у нас какие известия, - расставила руки мамаша, указывая на дочерей, - точно облака идут; пройдут облака и опять наша музыка. Прежде, когда мы военными были, к нам много приходило таких гостей. Я, батюшка, это к делу не приравниваю. Кто любит кого, тот и люби того. Дьяконица тогда приходит и говорит: Александр Александрович превосходнейшей души человек, а Настасья, говорит, Петровна, это исчадие ада. Ну отвечаю это как кто кого обожает, а ты и мала куча да вонюча. - А тебя, говорит, надо в повиновении держать. - Ах ты, черная ты, говорю ей, шпага, ну и кого ты учить пришла? - Я, говорит она, воздух чистый впускаю, а ты нечистый. - А спроси, отвечаю ей, всех господ офицеров, нечистый ли во мне воздух, али другой какой? И так это у меня с того самого времени на душе сидит, что намердись сижу я вот здесь как теперь и вижу, тот самый генерал вошел, что на Святую сюда приезжал: что, говорю ему, ваше превосходительство, можно ли благородной даме воздух свободный впускать? - Да, отвечает, надо бы у вас форточку али дверь отворить, потому самому, что у вас воздух не свежий. Ну и все-то так! А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже пахнет. Я, говорю, воздуху вашего не порчу, а башмаки закажу и уйду. Батюшки, голубчики, не попрекайте мать родную! Николай Ильич, батюшка, я ль тебе не угодила, только ведь у меня и есть, что Илюшечка из класса придет и любит. Вчера яблочко принес. Простите, батюшки, простите, голубчики, мать родную, простите меня совсем одинокую, а и чего вам мой воздух противен стал!

И бедная вдруг разрыдалась, слезы брызнули ручьем. Штабс-капитан стремительно подскочил к ней.

- Маменька, маменька, голубчик, полно, полно! Не одинокая ты. Все-то тебя любят, все обожают! - и он начал опять целовать у нее обе руки и нежно стал гладить по ее лицу своими ладонями; схватив же салфетку, начал вдруг обтирать с лица ее слезы. Алеше показалось даже, что у него и у самого засверкали слезы. - Ну-с, видели-с? Слышали-с? - как-то вдруг яростно обернулся он к нему, показывая рукой на бедную слабоумную.

- Вижу и слышу, - пробормотал Алеша.

- Папа, папа! Неужели ты с ним...

- Брось ты его, папа! - крикнул вдруг мальчик, привстав на своей постельке и горящим взглядом смотря на отца.

- Да полно-те вы наконец паясничать, ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда не ведут!.. - совсем уже озлившись крикнула все из того угла Варвара Николаевна, даже ногой топнула.

- Совершенно справедливо на этот раз изволите из себя выходить, Варвара Николаевна, и я вас стремительно удовлетворю. Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз возьму - и пойдете-с. Надобно вам одно серьезное словечко сказать, только вне этих стен. Эта вот сидящая девица - это дочка моя-с, Нина Николаевна-с, забыл я вам ее представить, - ангел божий во плоти... к смертным слетевший... если можете только это понять...

- Весь ведь так и сотрясается, словно судорогой его сводит, - продолжала в негодовании Варвара Николаевна.

- А это вот что теперь на меня ножкой топает и паяцом меня давеча обличила, - это тоже ангел божий во плоти-с, и справедливо меня обозвала-с. Пойдете же, Алексей Федорович, покончить надо-с...

И схватив Алешу за руку, он вывел его из комнаты прямо на улицу.

VII. И НА ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ.

- Воздух чистый-с, а в хоробах-то у меня и впрямь не свежо, во всех даже смыслах. Пройдете, сударь, шажком. Очень бы хотелось мне вас заинтересовать-с.

- Я и сам к вам имею одно чрезвычайное дело... - заметил Алеша, - и только не знаю, как мне начать.

- Как не узнать, что у вас до меня дело-с? Без дела-то вы бы никогда ко мне и не заглянули. Али в самом деле только жаловаться на мальчика приходили-с? Так ведь это невероятно-с. А кстати о мальчике-с: я вам там всего изъяснить не мог-с, а здесь теперь сцену эту вам опишу-с. Видите ли, мочалка-то была гуще-с, еще всего неделю назад, - я про бороденку мою говорю-с; это ведь бороденку мою мочалкой прозвали, школьники главное-с. Ну-с, вот-с, тянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович за мою бороденку, вытянул из трактира на площадь, а как раз школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как увидел он меня в таком виде-с, - бросился ко мне: "Папа, кричит, папа!" Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня вырвать, кричит моему обидчику: "Простите, простите, это папа мой, папа, простите его", - так ведь и кричит: "простите"; рученками-то тоже его схватил, да руку-то ему, эту самую-то руку его, и целует-с... Помню я в ту минуту, какое у него было личико-с, не забыл-с и не забуду-с!..

- Клянусь, - воскликнул Алеша, - брат вам самым искренним образом, самым полным, выразит раскаяние, хотя бы даже на коленях на той самой площади... Я заставлю его, иначе он мне не брат!

- Ага, так это еще в проекте находится. Не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит пылко-с. Так бы и сказали-с. Нет, уж в таком случае позвольте мне и о высочайшем рыцарском и офицерском благородстве вашего брата досказать, ибо он его тогда выразил-с. Кончил он это меня за мочалку тащить, пустил на волю-с: "Ты, говорит, офицер и я офицер, - если можешь найти секунданта, порядочного человека, то присылай -

дам удовлетворение, хотя бы ты и мерзавец!" Вот что сказал-с. Воистину рыцарский дух! Удалились мы тогда с Илюшей, а родословная фамильная картина навеки у Илюши в памяти душевной отпечатлелась. Нет уж где нам дворянами оставаться-с. Да и посудите сами-с, изволили сами быть сейчас у меня в хоробах, - что видели-с? Три дамы сидят-с, одна без ног слабоумная, другая без ног горбатая, а третья с ногами, да слишком уж умная, курсистка-с, в Петербург снова рвется, там на берегах Невы права женщины русской отыскивать. Про Илюшу не говорю-с, всего девять лет-с, один как перст, ибо умри я - и что со всеми этими недрами станется, я только про это одно вас спрошу-с? А если так, то вызови я его на дуэль, а ну как он меня тотчас же и убьет, ну что же тогда? С ними-то тогда со всеми что станется-с? Еще хуже того, если он не убьет-с, а лишь только меня искалечит: работать нельзя, а рот-то все-таки остается, кто ж его накормит тогда, мой рот, и кто ж их-то всех тогда накормит-с? Аль Илюшу, вместо школы, милостыню просить высылать ежедневно? Так вот что оно для меня значит-с на дуэль-то его вызвать-с, глупое это слово-с и больше ничего-с.

- Он будет у вас просить прощения, он посреди площади вам в ноги поклонится, - вскричал опять Алеша с разгоревшимся взором.

- Хотел я его в суд позвать. - продолжал штабс-капитан, - но разверните наш кодекс, много ль мне придется удовлетворения за личную обиду мою с обидчика получить-с? А тут вдруг Аграфена Александровна призывает меня и кричит: "Думать не смей! Если в суд его позовешь, так подведу так, что всему свету публично обнаружится, что бил он тебя за твое же мошенничество, тогда самого тебя под суд упекут". А господь один видит, от кого мошенничество-то это вышло-с, и по чьему приказу я как мелкая сошка тут действовал-с, - не по ее ли самой распоряжению, да Федора Павловича? "А к тому же, прибавляет, навеки тебя прогоню, и ничего ты у меня впредь не заработаешь. Купцу моему тоже скажу (она его так и называет, старика-то: купец мой), так и тот тебя стонит". Вот и думаю, если уж и купец меня стонит, то что тогда, у кого заработаю? Ведь они только двое мне и остались, так как батюшка ваш Федор Павлович не только мне доверять перестал, по одной посторонней причине-с, но еще сам, заручившись моими расписками, в суд меня тащить хочет. Вследствие всего сего я и притих-с и вы недра видели-с. А теперь позвольте спросить: больно он вам пальчик давеча укусил, Ильюша-то? В хоробах-то я при нем войти в сию подробность не решился.

- Да, очень больно, и он очень был раздражен. Он мне как Карамазову за вас отомстил, мне это ясно теперь. Но если бы вы видели, как он с товарищами школьниками камнями перекидывался? Это очень опасно, они могут его убить, они дети, глупы, камень летит и может голову проломить.

- Да уж и попало-с, не в голову так в грудь-с, повыше сердца-с, сегодня удар камнем, синяк-с, пришел плачет, охает, а вот и заболел.

- И знаете, ведь он там сам первый и нападает на всех, он озлился за вас, они говорят, что он одному мальчику, Красоткину, давеча в бок перочинным ножиком пырнул...

- Слышал и про это, опасно-с: Красоткин это чиновник здешний, еще может быть хлопоты выйдут-с...

- Я бы вам советовал, - с жаром продолжал Алеша, - некоторое время не посылать его вовсе в школу, пока он уймется... и гнев этот в нем пройдет...

- Гнев-с! - подхватил штабс-капитан, - именно гнев-с. В маленьком существе, а великий гнев-с. Вы этого всего не знаете-с. Позвольте мне пояснить эту повесть особенно. Дело в том, что после того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах народ безжалостный: порознь ангелы божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны. Начали они его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, - тот бы смирился, отца своего застыдился, а этот один против всех восстал за отца. За отца и за истину-с, за правду-с. Ибо, что он тогда вынес, как вашему братцу руки целовал и кричал ему: "Простите папочку, простите папочку", - то это только бог один знает да я-с. И вот так-то детки наши - то-есть не ваши, а наши-с, детки презренных, но благородных нищих-с, правду на земле еще в девять лет отроду узнают-с. Богаты где: те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на площади-то-с, как руки-то его целовал, в ту самую минуту всю истину произошел-с. Вошла в него эта истина-с и пришибла его навеки-с, - горячо и опять как бы в исступлении произнес штабс-капитан и при

этом ударил правым своим кулаком в левую ладонь, как бы желая наяву выразить, как пришибла его Илюшу "истина". - В тот самый день он у меня в лихорадке был-с, всю ночь бредил. Весь тот день мало со мной говорил, совсем молчал даже, только заметил я: глядит, глядит на меня из угла, а все больше к окну припадает и делает вид, будто бы уроки учит, а вижу я, что не уроки у него на уме. На другой день я выпил-с и многого не помню-с, грешный человек, с горя-с. Маменька тоже тут плакать начала-с, - маменьку-то я очень люблю-с, - ну с горя и клякнул, на последние-с. Вы, сударь, не презирайте меня: в России пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Лежу это я и Илюшу в тот день не очень запомнил, а в тот-то именно день мальчишки и подняли его на смех в школе с утра-с: "Мочалка, кричат ему, отца твоего за мочалку из трактира тащили, а ты подле бежал и прощения просил". На третий это день пришел он опять из школы, смотрю - лица на нем нет, побледнел. Что ты, говорю? Молчит. Ну в хоромах-то нечего было разговаривать, а то сейчас маменька и девицы участие примут, - девицы-то к тому же все уже узнали, даже еще в первый день. Варвара-то Николавна уже стала ворчать: "Шуты, паяцы, разве может у вас что разумное быть?" - Так точно, говорю, Варвара Николавна, разве может у нас что разумное быть? Тем на тот раз и отделался. Вот-с к вечеру я и вывел мальчика погулять. А мы с ним, надо вам знать-с, каждый вечер и допрежь того гулять выходили, ровно по тому самому пути, по которому с вами теперь идем. от самой нашей калитки до вон того камня большущего, который вон там на дороге сиротой лежит у плетня, и где выгон городской начинается: место пустынное и прекрасное-с. Идем мы с Илюшей, ручка его в моей руке, по обыкновению; махонькая у него ручка, пальчики тоненькие, холодненькие, - грудкой ведь он у меня страдает. - "Папа, говорит, папа!" - Что, говорю ему - глазенки, вижу, у него сверкают. - "Папа, как он тебя тогда, папа!" - Что делать, Илюша, говорю. - "Не мирись с ним, папа, не мирись. Школьники говорят, что он тебе десять рублей за это дал". - Нет, говорю, Илюша, я денег от него не возьму теперь ни за что. Так он и затрясся весь, схватил мою руку в свои обе ручки, опять целует. - "Папа, говорит, папа, вызови его на дуэль, в школе дразнят, что ты трус и не вызовешь его на дуэль, а десять рублей у него возьмешь". - На дуэль, Илюша, мне нельзя его вызвать, отвечаю я, и излагаю ему вкратце все то, что и вам на сей счет изложил. Выслушал он: - "Папа, говорит, папа. все-таки не мирись: я вырасту, я вызову его сам и убью его!" Глазенки-то сверкают и горят. Ну, при всем том ведь я и отец, надобно ж было ему слова правды сказать: грешно, говорю я ему, убивать, хотя бы и на поединке. - "Папа, говорит, папа, я его повалю как большой буду, я ему саблю выбью своею саблей, брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы тебя сейчас убить, но прощаю тебя, вот тебе!" - Видите, видите, сударь, какой процессик в головке-то его произошел в эти два дня, это он день и ночь об этом именно мщении с саблей думал и ночью должно быть об этом бредил-с. Только стал он из школы приходиться больно битый, это третьего дня я все узнал, и вы правы-с; больше уж в школу эту я его не пошлю-с. Узнаю я, что он против всего класса один идет и всех сам вызывает, сам озлился, сердце в нем зажглось, - испугался я тогда за него. Опять ходим гуляем. - "Папа, спрашивает, папа, ведь богатые всех сильнее на свете?" - Да, говорю, Илюша, нет на свете сильнее богатого. - "Папа, говорит, я разбогатею, я в офицеры пойду и всех разобью, меня царь наградит, я приеду и тогда никто не посмеет"... Потом помолчал да и говорит, - губенки-то у него все попрежнему вздрагивают. - "Папа, говорит, какой это нехороший город наш, папа!" - Да, говорю, Илюшечка, не очень-таки хорош наш город. - "Папа, переедем в другой город, в хороший, говорит, город, где про нас и не знают". - Переедем, говорю, переедем, Илюша, - вот только денег скоплю. Обрадовался я случаю отвлечь его от мыслей темных, и стали мы мечтать с ним, как мы в другой город переедем, лошадку свою купим, да тележку. Маменьку да сестриц усадим, закроем их, а сами сбоку пойдем, изредка тебя подсажу, а я тут подле пойду, потому лошадку свою побережь надо, не всем же садиться, так и отправимся. Восхитился он этим, а главное, что своя лошадка будет и сам на ней поедет. А уж известно, что русский мальчик так и родится вместе с лошадкой. Болтали мы долго, слава богу, думаю, развлек я его, утешил. Это третьего дня вечером было, а вчера вечером уже другое оказалось. Опять он утром в эту школу пошел, мрачный вернулся, очень уж мрачен. Вечером взял я его за ручку, вывел гулять, молчит, не говорит. Ветерок тогда начался, солнце затмилось, осенью

повеяло, да и смеркалось уж, - идем, обоим нам грустно. - Ну, мальчик, как же мы, говорю, с тобой в дорогу-то соберемся, - думаю на вчерашний-то разговор навести. Молчит. Только пальчики его, слышу, в моей руке вздрогнули. Э, думаю, плохо, новое есть. Дошли мы вот как теперь до этого самого камня, сел я на камень этот, а на небесах все змеи запущены, гудят и трещат, змеев тридцать видно. Ведь ныне змеиный сезон-с. Вот, говорю, Илюша, пора бы и нам змеек прошлогодний запустить. Починю-ка я его, где он у тебя там спрятан? Молчит мой мальчик, глядит в сторону, стоит ко мне боком. А тут ветер вдруг загудел, понесло песком... Бросился он вдруг ко мне весь, обнял мне обеими рученками шею. стиснул меня. Знаете, детки коли молчаливые да гордые, да слезы долго перемогают в себе, да как вдруг прорвутся, если горе большое придет, так ведь не то что слезы потекут-с, а брызнут словно ручьи-с. Теплыми-то брызгами этими так вдруг и обмочил он мне все лицо. Зарыдал как в судороге, затрясся, прижимает меня к себе, я сижу на камне. - "Папочка, вскрикивает, папочка, милый папочка, как он тебя унизил!" Зарыдал тут и я-с, сидим и сотрясаемся обнявшись. - "Папочка, говорит, папочка!" - Илюша, говорю ему, Илюшечка! Никто-то нас тогда не видел-с, бог один видел, авось мне в формуляр занесет-с. Поблагодарите вашего братца, Алексей Федорович. Нет-с, я моего мальчика для вашего удовлетворения не высеку-с!

Кончил он опять со своим давешним злым и крохливым вывертом. Алеша почувствовал, однако, что ему уж он доверяет и что будь на его месте другой, то с другим этот человек не стал бы так "разговаривать" и не сообщил бы ему того, что сейчас ему сообщил. Это ободрило Алешу, у которого душа дрожала от слез.

- Ах, как бы мне хотелось помириться с вашим мальчиком! - воскликнул он. - Если б вы это устроили...

- Точно так-с, - пробормотал штабс-капитан.

- Но теперь не про то, совсем не про то, слушайте, - продолжал восклицать Алеша, - слушайте! Я имею к вам поручение: этот самый мой брат, этот Дмитрий, оскорбил и свою невесту, благороднейшую девушку, и о которой вы верно слышали. Я имею право вам открыть про ее оскорбление, я даже должен так сделать, потому что она, узнав про вашу обиду, и узнав все про ваше несчастное положение, поручила мне сейчас... давеча... снести вам это вспоможение от нее... но только от нее одной, не от Дмитрия, который и ее бросил, отнюдь нет, и не от меня, от брата его, и не от кого-нибудь, а от нее, только от нее одной! Она вас умоляет принять ее помощь... вы оба обижены одним и тем же человеком... Она и вспомнила-то о вас лишь тогда, когда вынесла от него такую же обиду (по силе обиды), - как и вы от него! Это значит сестра идет к брату с помощью... Она именно поручила мне уговорить вас принять от нее вот эти двести рублей как от сестры. Никто-то об этом не узнает, никаких несправедливых сплетен не может произойти... вот эти двести рублей и, клянусь, - вы должны принять их, иначе... иначе стало быть все должны быть врагами друг другу на свете! Но ведь есть же и на свете братья... У вас благородная душа... вы должны это понять, должны!..

И Алеша протянул ему две новенькие радужные сторублевые кредитки. Оба они стояли тогда именно у большого камня, у забора, и никого кругом не было. Кредитки произвели, казалось, на штабс-капитана страшное впечатление: он вздрогнул, но сначала как бы от одного удивления: ничего подобного ему и не мерещилось, и такого исхода он не ожидал вовсе. Помощь от кого-нибудь, да еще такая значительная, ему и не мечталась даже во сне. Он взял кредитки и с минуту почти и отвечать не мог, совсем что-то новое промелькнуло в лице его.

- Это мне-то, мне-с, это столько денег, двести рублей! Батюшки! Да я уж четыре года не видал таких денег, - господи! И говорит, что сестра... и вправду это, вправду?

- Клянусь вам, что все, что я вам сказал, правда! - вскричал Алеша. Штабс-капитан покраснел.

- Послушайте-с, голубчик мой, послушайте-с, ведь если я и приму, то ведь не буду же я подлецом? В глазах-то ваших, Алексей Федорович, ведь не буду. не буду подлецом? Нет-с, Алексей Федорович, вы выслушайте, выслушайте-с, - торопился он поминутно, дотрогиваясь до Алешы обеими руками, - вы вот уговариваете меня принять тем, что "сестра" посылает, а внутри-то, про себя-то, - не восчувствуете ко мне презрения, если я приму-с, а?

- Да нет же, нет! Спасением моим клянусь вам, что нет! И никто не узнает никогда, только мы: я, вы, да она, да еще одна дама, ее большой

друг...

- Что дама! Слушайте, Алексей Федорович, послушайте-с, ведь уж теперь минута такая пришла-с, что надо послушать, ибо вы даже и понять не можете, что могут значить для меня теперь эти двести рублей, - продолжал бедняк, приходя постепенно в какой-то беспорядочный, почти дикий восторг. Он был как бы сбит с толку, говорил же чрезвычайно спеша и торопясь, точно опасаясь, что ему не дадут всего высказать. - Кроме того, что это честно приобретено, от столь уважаемой и святой "сестры-с", знаете ли вы, что я маменьку и Ниночку, - горбаченького-то ангела моего, дочку-то, полечить теперь могу? Приезжал ко мне доктор Герценштубе, по доброте своего сердца, осматривал их обеих целый час: "Не понимаю, говорит, ничего", а однако же минеральная вода, которая в аптеке здешней есть (прописал он ее), несомненную пользу ей принесет, да ванны ножные из лекарства тоже ей прописал. Минеральная-то вода стоит тридцать копеек, а кувшинов-то надо выпить может быть сорок. Так я взял да рецепт и положил на полку под образа, да там и лежит. А Ниночку прописал купать в каком-то растворе, в горячих ваннах таких, да ежедневно утром и вечером, так где ж нам было сочинить такое лечение-с у нас-то, в хоромах-то наших, без прислуги, без помощи, без посуды и без воды-с? А Ниночка-то вся в ревматизме, я вам это еще и не говорил, по ночам ноет у ней вся правая половина, мучается, и, верите ли, ангел божий, крепится, чтобы нас не беспокоить, не стонет, чтобы нас не разбудить. Кушаем мы что попало, что добудется, так ведь она самый последний кусок возьмет, что собаке только можно выкинуть: "Не стою я дескать этого куска, я у вас отнимаю, вам бременем сижу". Вот что ее взгляд ангельский хочет изобразить. Служим мы ей, а ей это тягостно: "Не стою я того, не стою, недостойная я калека, бесполезная", - а еще бы она не стоила-с, когда она всех нас своею ангельскою кротостью у бога вымолила, без нее, без ее тихого слова, у нас был бы ад-с, даже Варю и ту смягчила. А Варвару-то Николавну тоже не осуждайте-с, тоже ангел она, тоже обиженная. Прибыла она к нам летом, а было с ней шестнадцать рублей, уроками заработала и отложила их на отъезд, чтобы в сентябре, то-есть теперь-то, в Петербург на них воротиться. А мы взяли денежки-то ее и прожили и не на что ей теперь воротиться, вот как-с. Да и нельзя воротиться-то, потому на нас как каторжная работает - ведь мы ее как клячу запрягли-оседлали, за всеми ходит, чинит, моет, пол метет, маменьку в постель укладывает, а маменька капризная-с, а маменька слезливая-с, а маменька сумасшедшая-с!.. Так ведь теперь я на эти двести рублей служанку нанять могу-с, понимаете ли вы. Алексей Федорович, лечение милых существ предпринять могу-с, курсистку в Петербург направлю-с, говядины куплю-с, диету новую заведу-с. Господи, да ведь это мечта!

Алеша был ужасно рад, что доставил столько счастья и что бедняк согласился быть осчастливленным.

- Стойте, Алексей Федорович, стойте, - схватился опять за новую, вдруг представившуюся ему мечту штабс-капитан и опять затараторил исступленную скороговоркой, - да знаете ли вы, что мы с Илюшкой пожалуй и впрямь теперь мечту осуществим: купим лошадку да кибитку, да лошадку-то вороненькую, он просил непременно чтобы вороненькую, да и отправимся, как третьего дня расписывали. У меня в К-ской губернии адвокат есть знакомый-с, с детства приятель-с, передавали мне чрез верного человека, что если приеду, то он мне у себя на конторе место письмоводителя будто бы даст-с, так ведь кто его знает может и даст... Ну так посадить бы маменьку, посадить бы Ниночку, Илюшечку править посажу, а я бы пешечком, пешечком, да всех бы и повез-с... Господи, да если бы только один должок пропащий здесь получить, так может достанет даже и на это-с!

- Достанет, достанет! - воскликнул Алеша, - Катерина Ивановна вам пришлет еще, сколько угодно, и знаете ли, у меня тоже есть деньги, возьмите сколько вам надо, как от брата, как от друга, потом отдадите... (Вы разбогатеете, разбогатеете!) И знаете, что никогда вы ничего лучше даже и придумать не в состоянии, как этот переезд в другую губернию! В этом ваше спасение, а главное для вашего мальчика, - и знаете, поскорее бы, до зимы бы, до холодов, и написали бы нам оттуда, и остались бы мы братьями... Нет, это не мечта!

Алеша хотел было обнять его, до того он был доволен. Но взглянув на него, он вдруг остановился: тот стоял вытянув шею, вытянув губы, с исступленным и побледневшим лицом и что-то шептал губами, как будто желая

что-то выговорить; звуков не было, а он все шептал губами, было как-то странно.

- Чего вы! - вздрогнул вдруг отчего-то Алеша.

- Алексей Федорович... я... вы... - бормотал и срывался штабс-капитан, странно и дико смотря на него в упор с видом решившегося полететь с горы, и в то же время губами как бы и улыбаясь, - я-с... вы-с... А не хотите ли я вам один фокусик сейчас покажу-с! - вдруг прошептал он быстрым, твердым шепотом, речь уже не срывалась более.

- Какой фокусик?

- Фокусик, фокус-покус такой, - все шептал штабс-капитан; рот его скривился на левую сторону, левый глаз прищурился, он, не отрываясь, все смотрел на Алешу, точно приковался к нему.

- Да что с вами, какой фокус? - прокричал тот уж совсем в испуге.

- А вот какой, глядите! - взвизгнул вдруг штабс-капитан. И показав ему обе радужные кредитки, которые все время, в продолжение всего разговора, держал обе вместе за уголок большим и указательным пальцами правой руки, он вдруг с каким-то остервенением схватил их, смял и крепко зажал в кулаке правой руки.

- Видели-с, видели-с! - взвизгнул он Алеше, бледный и исступленный, и вдруг подняв вверх кулак, со всего розмаху бросил обе смятые кредитки на песок, - видели-с? - взвизгнул он опять, показывая на них пальцем - ну так вот же-с!..

И вдруг подняв правую ногу, он с дикой злобой бросился их топтать каблуком, восклицая и задыхаясь с каждым ударом ноги.

- Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! Вот ваши деньги-с! - Вдруг он отскочил назад и выпрямился пред Алешей. Весь вид его изобразил собой неизъяснимую гордость.

- Доложите пославшим вас, что мочалка чести своей не продает-с! - вскричал он, простирая на воздух руку. Затем быстро повернулся и бросился бежать; но он не пробежал и пяти шагов, как, весь повернувшись опять, вдруг сделал Алеше ручкой. Но и опять, не пробежав пяти шагов, он в последний уже раз обернулся, на этот раз без искривленного смеха в лице, а напротив, все оно сотрясилось слезами. Плачущую, срывающуюся, захлебывающуюся скороговоркой прокричал он:

- А что ж бы я моему мальчику-то сказал, если б у вас деньги за позор наш взял? - и, проговорив это, бросился бежать на сей раз уже не оборачиваясь. Алеша глядел ему вслед с невыразимой грустью. О, он понимал, что тот до самого последнего мгновения сам не знал, что скомкает и швырнет кредитки. Бежавший ни разу не обернулся, так и знал Алеша, что не обернется. Преследовать и звать его он не захотел, он знал почему. Когда же тот исчез из виду, Алеша поднял обе кредитки. Они были лишь очень смяты, сплюснуты и вдавлены в песок, но совершенно целы и даже захрустели как новенькие, когда Алеша развертывал их и разглаживал. Разгладив, он сложил их. сунул в карман и пошел к Катерине Ивановне докладывать об успехе ее поручения.

КНИГА ПЯТАЯ

Pro и contra

I. СГОВОР.

Г-жа Хохлакова опять встретила Алешу первая. Она торопилась: случилось

нечто важное: истерика Катерины Ивановны кончилась обмороком, затем наступила "ужасная, страшная слабость, она легла, завела глаза и стала бредить. Теперь жар, послали за Герценштубе, послали за тетками. Тети уж здесь, а Герценштубе еще нет. Все сидят в ее комнате и ждут. Что-то будет, а она без памяти. А ну если горячка!"

Воскликая это, г-жа Хохлакова имела вид серьезно-испуганный: "это уж серьезно, серьезно!" прибавляла она к каждому слову, как будто все, что случилось с ней прежде, было несерьезно. Алеша выслушал ее с горестью; начал было излагать ей и свои приключения, но она его с первых же слов прервала: ей было некогда, она просила посидеть у Lise и у Lise подождать ее.

- Lise, милейший Алексей Федорович, - зашептала она ему почти на ухо, - Lise меня странно удивила сейчас, но и умилила, а потому сердце мое ей все прощает. Представьте, только что вы ушли, она вдруг искренно стала раскаиваться, что над вами будто бы смеялась вчера и сегодня. Но ведь она не смеялась, она лишь шутила. Но так серьезно раскаивалась, почти до слез, так что я удивилась. Никогда она прежде серьезно не раскаивалась, когда надо мною смеялась, а все в шутку. А вы знаете, она поминутно надо мною смеется. А вот теперь она серьезно, теперь все пошло серьезно. Она чрезвычайно ценит ваше мнение, Алексей Федорович, и если можете, то не обижайтесь на нее и не имейте претензии. Я сама только и делаю, что щажу ее, потому что она такая умненькая, - верите ли вы? Она говорила сейчас, что вы были другом ее детства, - "самым серьезным другом моего детства", - представьте себе это, самым серьезным, а я-то? У ней на этот счет чрезвычайно серьезные чувства, и даже воспоминания, а главное эти фразы и словечки, самые неожиданные эти словечки, так что никак не ожидаешь, а вдруг оно и выскочит. Вот недавно о сосне например: Стояла у нас в саду в ее первом детстве сосна, может и теперь стоит, так что нечего говорить в прошедшем времени. Сосны не люди, они долго не изменяются, Алексей Федорович. "Мама, говорит, я помню эту сосну, как со сна, - то-есть "сосну, как со сна" - это как-то она иначе выразилась, потому что тут путаница, сосна слово глупое, но только она мне наговорила по этому поводу что-то такое оригинальное, что я решительно не возьмусь передать. Да и все забыла. Ну до свиданья, я очень потрясена и наверно с ума схожу. Ах, Алексей Федорович, я два раза в жизни с ума сходила, и меня лечили. Ступайте к Lise. Ободрите ее, как вы всегда прелестно это сумеете сделать. Lise, - крикнула она, подходя к ее двери, - вот я привела к тебе столь оскорбленного тобою Алексея Федоровича, и он нисколько не сердится, уверяю тебя, напротив удивляется, как ты могла подумать!

- Mercì, taman, войдите, Алексей Федорович.

Алеша вошел. Lise смотрела как-то сконфуженно и вдруг вся покраснела. Она видимо чего-то стыдилась, и как всегда при этом бывает, быстро-быстро заговорила совсем о постороннем, точно этим только посторонним она и интересовалась в эту минуту.

- Мама мне вдруг передала сейчас, Алексей Федорович, всю историю об этих двухстах рублях, и об этом вам поручении... к этому бедному офицеру... и рассказала всю эту ужасную историю, как его обидели, и знаете, хоть мама рассказывает очень нетолково... она все перескакивает... но я слушала и плакала. Что же, как же, отдали вы эти деньги, и как же теперь этот несчастный?..

- То-то и есть, что не отдал, и тут целая история, - ответил Алеша, с своей стороны как бы именно более всего озабоченный тем, что деньги не отдал, а между тем Lise отлично заметила, что и он смотрит в сторону, и тоже видимо старается говорить о постороннем. Алеша присел к столу и стал рассказывать, но с первых же слов он совершенно перестал конфузиться и увлек в свою очередь Lise. Он говорил под влиянием сильного чувства и недавнего чрезвычайного впечатления, и рассказать ему удалось хорошо и обстоятельно. Он и прежде, еще в Москве, еще в детстве Lise, любил приходить к ней, и рассказывать то из случившегося с ним сейчас, то из прочитанного, то вспоминать из прожитого им детства. Иногда даже оба мечтали вместе и сочиняли целые повести вдвоем, но большую часть веселые и смешные. Теперь они оба как бы вдруг перенеслись в прежнее московское время, два года назад. Lise была чрезвычайно растрогана его рассказом. Алеша с горячим чувством сумел нарисовать перед ней образ "Илюшечки". Когда же кончил во всей подробности сцену о том, как тот несчастный человек топтал деньги, то Lise

всплеснула руками и вскричала в неудержимом чувстве:

- Так вы не отдали денег, так вы так и дали ему убежать! Боже мой, да вы хоть бы побежали за ним сами и догнали его...

- Нет, Lise, этак лучше, что я не побежал, - сказал Алеша, встал со стула и озабоченно прошелся по комнате.

- Как лучше, чем лучше? Теперь они без хлеба и погибнут!

- Не погибнут, потому что эти двести рублей их все-таки не минуют. Он все равно возьмет их завтра. Завтра-то уж наверно возьмет, - проговорил Алеша, шагая в раздумьи. - Видите ли, Lise, - продолжал он, вдруг остановясь пред ней, - я сам тут сделал одну ошибку, но и ошибка-то вышла к лучшему.

- Какая ошибка, и почему к лучшему?

- А вот почему, это человек трусливый и слабый характером. Он такой измученный и очень добрый. Я вот теперь все думаю: чем это он так вдруг обиделся и деньги растоптал, потому что, уверяю вас, он до самого последнего мгновения не знал, что растопчет их. И вот мне кажется, что он многим тут обиделся... да и не могло быть иначе в его положении... Во-первых, он уже тем обиделся, что слишком при мне деньгам обрадовался и предо мною этого не скрыл. Если б обрадовался, да не очень, не показал этого, фасоны бы стал делать, как другие, принимая деньги, кривляться, ну тогда бы еще мог снести и принять, а то он уж слишком правдиво обрадовался, а это-то и обидно. Ах, Lise, он правдивый и добрый человек, вот в этом-то и вся беда в этих случаях! У него все время, пока он тогда говорил, голос был такой слабый, ослабленный, и говорил он так скоро-скоро, все как-то хихикал таким смешком, или уже плакал... право, он плакал, до того он был в восхищении... и про дочерей своих говорил... и про место, что ему в другом городе дадут... И чуть только излил душу, вот вдруг ему и стыдно стало за то, что он так всю душу мне показал. Вот он меня сейчас и возненавидел. А он из ужасно стыдливых бедных. Главное же обиделся тем, что слишком скоро меня за своего друга принял и скоро мне сдался; то бросался на меня, пугал, а тут вдруг только что увидел деньги, и стал меня обнимать. Потому что он меня обнимал, все руками трогал. Это именно вот в таком виде он должен был все это унижение почувствовать, а тут как раз я эту ошибку сделал, очень важную: Я вдруг и скажи ему, что если денег у него не достанет на переезд в другой город, то ему еще дадут, и даже я сам ему дам из моих денег сколько угодно. Вот это вдруг его и поразило: зачем дескать и я выскочил ему помогать? Знаете, Lise, это ужасно, как тяжело для обиженного человека, когда все на него станут смотреть его благодетелями... я это слышал, мне это старец говорил. Я не знаю, как это выразить, но я это часто и сам видел. Да я ведь и сам точно так же чувствую. А главное то, что хоть он и не знал до самого последнего мгновения, что растопчет кредитки, но все-таки это предчувствовал, это уж непременно. Потому-то и восторг у него был такой сильный, что он предчувствовал... И вот хоть все это так скверно, но все-таки к лучшему. Я так даже думаю, что к самому лучшему, лучше и быть не могло...

- Почему, почему лучше и быть не могло? - воскликнула Lise, с большим удивлением смотря на Алешу.

- Потому, Lise, что если б он не растоптал, а взял эти деньги, то придя домой чрез час какой-нибудь и заплакал бы о своем унижении, вот что вышло бы непременно. Заплакал бы и пожалуй завтра пришел бы ко мне чем свет и бросил бы может быть мне кредитки и растоптал бы как давеча. А теперь он ушел ужасно гордый и с торжеством, хоть и знает, что "погубил себя". А стало быть теперь уж ничего нет легче, как заставить его принять эти же двести рублей не далее как завтра, потому что он уж свою честь доказал, деньги растоптал... Не мог же он знать, когда топтал, что я завтра их опять ему принесу. А между тем деньги-то эти ему ужасно как ведь нужны. Хоть он теперь и горд, а все-таки ведь даже сегодня будет думать о том, какой помощи он лишился. Ночью будет еще сильнее думать, во сне будет видеть, а к завтрашнему утру пожалуй готов будет ко мне бежать и прощенья просить. А я-то вот тут и явлюсь: "Вот, дескать, вы гордый человек, вы доказали, ну теперь возьмите, простите нас". Вот тут-то он и возьмет!

Алеша с каким-то упоением произнес: "Вот тут-то он и возьмет!" Lise захлопала в ладошки.

- Ах, это правда, ах, я это ужасно вдруг поняла! Ах, Алеша, как вы все это знаете? Такой молодой и уж знает, что в душе... Я бы никогда этого не

выдумала...

- Его, главное, надо теперь убедить в том, что он со всеми нами на равной ноге, несмотря на то, что он у нас деньги берет, - продолжал в своем упоении Алеша, - и не только на равной, но даже на высшей ноге...

- "На высшей ноге" - прелестно, Алексей Федорович, но говорите, говорите!

- То-есть я не так выразился... про высшую ногу... но это ничего, потому что...

- Ах, ничего, ничего, конечно ничего! Простите, Алеша, милый... Знаете, я вас до сих пор почти не уважала... то-есть уважала, да на равной ноге, а теперь буду на высшей уважать... Милый, не сердитесь, что я "острю", - подхватила она сейчас же с сильным чувством. - Я смешная и маленькая, но вы, вы... слушайте, Алексей Федорович, нет ли тут во всем этом рассуждении нашем... то-есть вашем... нет. уж лучше нашем... нет ли тут презрения к нему, к этому несчастному... в том, что мы так его душу теперь разбираем, свысока точно, а? В том, что так наверно решили теперь, что он деньги примет, а?

- Нет, Lise, нет презрения, - твердо ответил Алеша, как будто уже приготовленный к этому вопросу, - я уж об этом сам думал, идя сюда. Рассудите, какое уж тут презрение, когда мы сами такие же как он, когда все такие же как он. Потому что ведь и мы такие же, не лучше. А если б и лучше были, то были бы все-таки такие же на его месте... Я не знаю, как вы, Lise, но я считаю про себя, что у меня во многом мелкая душа. А у него и не мелкая, напротив, очень деликатная... Нет, Lise, нет тут никакого презрения к нем! Знаете, Lise, мой старец сказал один раз: за людьми сплошь надо как за детьми ходить, а за иными как за больными в больницах...

- Ах, Алексей Федорович, ах, голубчик, давайте за людьми как за больными ходить!

- Давайте, Lise, я готов, только я сам не совсем готов; я иной раз очень нетерпелив, а в другой раз и глазу у меня нет. Вот у вас другое дело.

- Ах, не верю! Алексей Федорович, как я счастлива!

- Как хорошо, что вы это говорите, Lise.

- Алексей Федорович, вы удивительно хороши, но вы иногда как будто педант... а между тем, смотришь, вовсе не педант. Подите посмотрите у дверей, отворите их тихонько и посмотрите, не подслушивает ли маменька, - прошептала вдруг Lise каким-то нервным, торопливым шопотом.

Алеша пошел, приотворил двери и доложил, что никто не подслушивает.

- Подойдите сюда, Алексей Федорович, - продолжала Lise, краснея все более и более, - дайте вашу руку, вот так. Слушайте, я вам должна большое признание сделать: вчерашнее письмо я вам не в шутку написала, а серьезно...

И она закрыла рукой свои глаза. Видно было, что ей очень стыдно сделать это признание. Вдруг она схватила его руку и стремительно поцеловала ее три раза.

- Ах, Lise, вот и прекрасно, - радостно воскликнул Алеша. - А я ведь был совершенно уверен, что вы написали серьезно.

- Уверен, представьте себе! - отвела вдруг она его руку, не выпуская ее однако из своей руки, краснея ужасно и смеясь маленьким, счастливым смешком, - я ему руку поцеловала, а он говорит: "и прекрасно". - Но упрекала она несправедливо: Алеша тоже был в большом смятении.

- Я бы желал вам всегда нравиться, Lise, но не знаю, как это сделать, - пробормотал он кое-как, и тоже краснея.

- Алеша, милый, вы холодны и дерзки. Видите ли-с. Он изволил меня выбрать в свои супруги и на том успокоился! Он был уже уверен, что я написала серьезно, каково! Но ведь это дерзость - вот что!

- Да разве это худо, что я был уверен? - засмеялся вдруг Алеша.

- Ах, Алеша, напротив, ужасно, как хорошо, - нежно и со счастьем посмотрела на него Lise. Алеша стоял все еще держа свою руку в ее руке. Вдруг он нагнулся и поцеловал ее в самые губки.

- Это что еще? Что с вами? - вскрикнула Lise. Алеша совсем потерялся.

- Ну, простите, если не так... Я может быть ужасно глупо... Вы сказали, что я холоден, я взял и поцеловал... Только я вижу, что вышло глупо...

Lise засмеялась и закрыла лицо руками.

- И в этом платье! - вырвалось у ней между смехом, но вдруг она перестала смеяться и стала вся серьезная, почти строгая.

- Ну, Алеша, мы еще подождем с поцелуями, потому что мы этого еще оба не умеем, а ждать нам еще очень долго, - заключила она вдруг. - Скажите лучше, за что вы берете меня, такую дуру, большую дурочку, вы такой умный, такой мыслящий, такой замечающий? Ах, Алеша, я ужасно счастлива, потому что я вас совсем не стою!

- Стойте, Lise. Я на-днях выйду из монастыря совсем. Выйдя в свет, надо жениться, это-то я знаю. Так и он мне велел. Кого ж я лучше вас возьму... и кто меня кроме вас возьмет? Я уж это обдумывал. Во-первых, вы меня с детства знаете, а во-вторых, в вас очень много способностей, каких во мне совсем нет. У вас душа веселее, чем у меня; вы, главное, невиннее меня, а уж я до многого, до многого прикоснулся... Ах, вы не знаете, ведь и я Карамазов! Что в том, что вы смеетесь и шутите, и надо мной тоже, напротив, смейтесь, я так этому рад... Но вы смеетесь как маленькая девочка, а про себя думаете как мученица...

- Как мученица? Как это?

- Да, Lise, вот давеча ваш вопрос: нет ли в нас презрения к тому несчастному, что мы так душу его анатомируем, - это вопрос мученический... видите, я никак не умею это выразить, но у кого такие вопросы являются, тот сам способен страдать. Сидя в креслах, вы уж и теперь должны были много передумать...

- Алеша, дайте мне вашу руку, что вы ее отнимаете, - промолвила Lise ослабленным от счастья, упавшим каким-то голоском. - Послушайте, Алеша, во что вы оденетесь, как выйдете из монастыря, в какой костюм? Не смейтесь, не сердитесь, это очень, очень для меня важно.

- Про костюм, Lise, я еще не думал, но в какой хотите, в такой и оденусь.

- Я хочу, чтоб у вас был темносиний бархатный пиджак, белый пикейный жилет и пуховая серая мягкая шляпа... Скажите, вы так и поверили давеча, что я вас не люблю, когда я от письма вчерашнего отреклась?

- Нет, не поверил.

- О, несносный человек, неисправимый!

- Видите, я знал, что вы меня... кажется, любите, но я сделал вид, что вам верю, что вы не любите, чтобы вам было... удобнее...

- Еще того хуже! И хуже и лучше всего. Алеша, я вас ужасно люблю. Я давеча, как вам прийти, загадала: спрошу у него вчерашнее письмо, и если он мне спокойно вынет и отдаст его (как и ожидать от него всегда можно), - то значит, что он совсем меня не любит, ничего не чувствует, а просто глупый и недостойный мальчик, а я погибла. Но вы оставили письмо в келье, и это меня ободрило: не правда ли, вы потому оставили в келье, что предчувствовали, что я буду требовать назад письмо, так чтобы не отдавать его? Так ли? Ведь так?

- Ох, Lise, совсем не так, ведь письмо-то со мной и теперь, и давеча было тоже, вот в этом кармане, вот оно.

Алеша вынул смеясь письмо и показал ей издали.

- Только я вам не отдам его, смотрите из рук.

- Как? Так вы давеча солгали, вы монах и солгали?

- Пожалуй солгал, - смеялся и Алеша, - чтобы вам не отдавать письма солгал. Оно очень мне дорого, - прибавил он вдруг с сильным чувством и опять покраснев, - это уж навеки, и я его никому никогда не отдам!

Lise смотрела на него в восхищении.

- Алеша, - залепетала она опять, - посмотрите у дверей, не подслушивает ли мамаша?

- Хорошо, Lise, я посмотрю, только не лучше ли не смотреть, а? Зачем подозревать в такой низости вашу мать?

- Как низости? В какой низости? Это то, что она подслушивает за дочерью, так это ее право, а не низость, - вспыхнула Lise. - Будьте уверены, Алексей Федорович, что когда я сама буду матерью и у меня будет такая же дочь как я, то я непременно буду за нею подслушивать.

- Неужели, Lise? это нехорошо.

- Ах, боже мой, какая тут низость? Если б обыкновенный светский разговор какой-нибудь и я бы подслушивала, то это низость, а тут родная дочь заперлась с молодым человеком... Слушайте, Алеша, знайте, я за вами тоже буду подсматривать, только что мы обвенчаемся, и знайте еще, что я все письма ваши буду распечатывать и все читать... Это уж вы будьте предуведомлены...

- Да, конечно, если так... - бормотал Алеша, - только это не хорошо...
- Ах, какое презрение! Алеша, милый, не будем ссориться с самого первого раза, - я вам лучше всю правду скажу: это конечно очень дурно подслушивать и уж конечно я не права, а вы правы, но только я все-таки буду подслушивать.

- Делайте. Ничего за мной такого не подглядите, - засмеялся Алеша.

- Алеша, а будете ли вы мне подчиняться? Это тоже надо заранее решить.

- С большою охотой, Lise, и непременно, только не в самом главном. В самом главном, если вы будете со мной несогласны, то я все-таки сделаю, как мне долг велит.

- Так и нужно. Так знайте, что и я, напротив, не только в самом главном подчиняться готова, но и во всем уступлю вам и вам теперь же клятву в этом даю, - во всем и на всю жизнь, - вскричала пламенно Lise, - и это со счастьем, со счастьем! Мало того, клянусь вам, что я никогда не буду за вами подслушивать, ни разу и никогда, ни одного письма вашего не прочту, потому что вы правы, а я нет. И хоть мне ужасно будет хотеться подслушивать, я это знаю, но я все-таки не буду, потому что вы считаете это неблагородным. Вы теперь как мое провидение... Слушайте, Алексей Федорович, почему вы такой грустный все эти дни, и вчера и сегодня; я знаю, что у вас есть хлопоты, бедствия, но я вижу, кроме того, что у вас есть особенная какая-то грусть, - секретная может быть, а?

- Да, Lise, есть и секретная, - грустно произнес Алеша.- Вижу, что меня любите, коли угадали это.

- Какая же грусть? О чем? Можно сказать? - с робкою мольбой произнесла Lise.

- Потом скажу, Lise... после... - смутился Алеша. - Теперь пожалуй и непонятно будет. Да я пожалуй и сам не сумею сказать.

- Я знаю, кроме того, что вас мучают ваши братья, отец?

- Да, и братья, - проговорил Алеша, как бы в раздумьи.

- Я вашего брата Ивана Федоровича не люблю, Алеша,- вдруг заметила Lise.

Алеша замечание это отметил с некоторым удивлением, но не поднял его.

- Братья губят себя, - продолжал он, - отец тоже. И других губят вместе с собою. Тут "земляная карамазовская сила", как отец Паисий намеренно выразился, - земляная и неистовая, необделанная... Даже носится ли дух божий вверху этой силы - и того не знаю. Знаю только, что и сам я Карамазов... Я монах, монах? Монах я, Lise? Вы как-то сказали сию минуту, что я монах?

- Да, сказала.

- А я в бога-то вот может быть и не верую.

- Вы не веруете, что с вами? - тихо и осторожно проговорила Lise. Но Алеша не ответил на это. Было тут, в этих слишком внезапных словах его нечто слишком таинственное и слишком субъективное, может быть и ему самому неясное, но уже несомненно его мучившее.

- И вот теперь, кроме всего, мой друг уходит, первый в мире человек, землю покидает. Если бы вы знали, если бы вы знали, Lise, как я связан, как я спаян душевно с этим человеком! И вот я останусь один... Я к вам приду, Lise... Впредь будем вместе...

- Да, вместе, вместе! Отныне всегда вместе на всю жизнь. Слушайте, поцелуйте меня, я позволяю.

Алеша поцеловал ее.

- Ну теперь ступайте, Христос с вами! (и она перекрестила его). Ступайте скорее к нему пока жив. Я вижу, что жестоко вас задержала. Я буду сегодня молиться за него и за вас. Алеша, мы будем счастливы! Будем мы счастливы, будем?

- Кажется, будем, Lise.

Выйдя от Lise, Алеша не заблагорассудил пройти к г-же Хохлаковой и, не простясь с нею, направился было из дому. Но только что отворил дверь и вышел на лестницу, откуда ни возьмись, пред ним сама г-жа Хохлакова. С первого слова Алеша догадался, что она поджидала его тут нарочно.

- Алексей Федорович, это ужасно. Это детские пустяки и все вздор. Надеюсь, вы не вздумаете мечтать... Глупости, глупости и глупости! - накинулась она на него.

- Только не говорите этого ей, - сказал Алеша, - а то она будет взволнована, а это ей теперь вредно.

- Слышу благоразумное слово благоразумного молодого человека. Понимать ли мне так, что вы сами только потому соглашались с ней, что не хотели, из сострадания к ее болезненному состоянию, противоречием рассердить ее?

- О нет, совсем нет, я совершенно серьезно с нею говорил, - твердо заявил Алеша.

- Серьезность тут невозможна, немислима, и во-первых, я вас теперь совсем не приму ни разу, а во-вторых, я уеду и ее увезу, знайте это.

- Да зачем же, - сказал Алеша, - ведь это так еще не близко, года полтора еще может быть ждать придется.

- Ах, Алексей Федорович, это конечно правда, и в полтора года вы тысячу раз с ней поссоритесь и разойдетесь. Но я так несчастна, так несчастна! Пусть это все пустяки, но это меня сразило. Теперь я как Фамусов в последней сцене, вы Чацкий, она Софья, и представьте я нарочно убежала сюда на лестницу, чтобы вас встретить, а ведь и там все роковое произошло на лестнице. Я все слышала, я едва устояла. Так вот где объяснение ужасов всей этой ночи и всех давешних истерик! Дочке любовь, а матери смерть. Ложись в гроб. Теперь второе и самое главное: что это за письмо, которое она вам написала, покажите мне его сейчас, сейчас!

- Нет, не надо. Скажите, как здоровье Катерины Ивановны. мне очень надо знать.

- Продолжает лежать в бреду, она не очнулась; ее тетки здесь и только ахают и надо мной гордятся, а Герценштубе приехал и так испугался, что я не знала, что с ним и делать и чем его спасти, хотела даже послать за доктором. Его увезли в моей карете. И вдруг в довершение всего вы вдруг с этим письмом. Правда, все это еще через полтора года. Именем всего великого и святого, именем умирающего старца вашего покажите мне это письмо, Алексей Федорович, мне, матери! Если хотите, то держите его пальцами, а я буду читать из ваших рук.

- Нет не покажу, Катерина Осиповна, хотя бы и она позволила, я не покажу. Я завтра приду и, если хотите, я с вами о многом переговорю, а теперь - прощайте!

И Алеша выбежал с лестницы на улицу.

II. СМЕРДЯКОВ С ГИТАРОЙ.

Да и некогда было ему. У него блеснула мысль, еще когда он прощался с Lise. Мысль о том: как бы самым хитрейшим образом поймать сейчас брата Дмитрия, от него очевидно скрывающегося? Было уже не рано, был час третий пополудни. Всем существом своим Алеша стремился в монастырь к своему "великому" умирающему, но потребность видеть брата Дмитрия пересилила все: в уме Алеши с каждым часом нарастало убеждение о неминуемой ужасной катастрофе, готовой совершиться. В чем именно состояла катастрофа и что хотел бы он сказать сию минуту брату, может быть он и сам бы не определил. "Пусть благодетель мой умрет без меня, но по крайней мере я не буду укорять себя всю жизнь, что может быть мог бы что спасти и не спас, прошел мимо, торопился в свой дом. Делая так, по его великому слову сделаю"...

План его состоял в том, чтобы захватить брата Дмитрия нечаянно, а именно: перелезть как вчера через тот плетень, войти в сад и засесть в ту беседку. "Если же его там нет, думал Алеша, то, не сказавшись ни Фоме, ни хозяйкам, притаиться и ждать в беседке хотя бы до вечера. Если он попрежнему караулит приход Грушеньки, то очень может быть, что и придет в беседку..." Алеша впрочем не рассуждал слишком много о подробностях плана, но он решил его исполнить, хотя бы пришлось и в монастырь не попасть сегодня...

Все произошло без помехи: он перелез через плетень почти в том самом месте, как вчера, и скрытно пробрался в беседку. Ему не хотелось, чтоб его заметили: и хозяйка, и Фома (если он тут), могли держать сторону брата и слушаться его приказаний, а стало быть или в сад Алешу не пустить, или брата предупредить во-время, что его ищут и спрашивают. В беседке никого не было.

Алеша сел на свое вчерашнее место и начал ждать. Он оглядел беседку, она показалась ему почему-то гораздо более ветхой, чем вчера, дрянную такую показалась ему в этот раз. День был впрочем такой же ясный, как и вчера. На зеленом столе отпечатался кружок от вчерашней, должно быть расплескавшейся рюмки с коньяком. Пустые и непригодные к делу мысли, как и всегда во время скучного ожидания, лезли ему в голову: например, почему он, войдя теперь сюда, сел именно точь-в-точь на то самое место, на котором вчера сидел, и почему не на другое? Наконец ему стало очень грустно, грустно от тревожной неизвестности. Но не просидел он и четверти часа, как вдруг, очень где-то вблизи, послышался аккорд гитары. Сидели или только сейчас уселся кто-то шагах от него в двадцати, никак не дальше, где-нибудь в кустах. У Алеши вдруг мелькнуло воспоминание, что, уходя вчера от брата из беседки, он увидел, или как бы мелькнула пред ним влево у забора садовая, зеленая, низенькая старая скамейка между кустами. На ней-то стало быть и уселись теперь гости. Кто же? Один мужской голос вдруг запел сладенькою фистулой куплет, аккомпанируя себе на гитаре:

Непобедимой силой
Привержен я к милой
Господи пом-и-илуй
Ее и меня!
Ее и меня!
Ее и меня!

Голос остановился. Лакейский тенор и выверт песни лакейский. Другой, женский уже голос вдруг произнес ласкательно и как бы робко, но с большим однако жеманством.

- Что вы к нам долго не ходите, Павел Федорович, что вы нас все презираете?

- Ничего-с, - ответил мужской голос, хотя и вежливо, но прежде всего с настойчивым и твердым достоинством. Видимо преобладал мужчина, а заигрывала женщина. "Мужчина - это, кажется, Смердяков", подумал Алеша, "по крайней мере по голосу, а дама, это верно хозяйки здешнего домика дочь, которая из Москвы приехала, платье со шлейфом носит и за супом к Марфе Игнатьевне ходит..."

- Ужасно я всякий стих люблю, если складно, - продолжал женский голос.
- Что вы не продолжаете? - Голос запел снова:

Царская корона
Была бы моя милая здорова
Господи пом-и-илуй
Ее и меня!
Ее и меня!
Ее и меня!

- В прошлый раз еще лучше выходило, - заметил женский голос. - Вы спели про корону: "была бы моя милочка здорова". Этак нежнее выходило, вы верно сегодня позабыли.

- Стихи вздор-с, - отрезал Смердяков.

- Ах нет, я очень стишок люблю.

- Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто же на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с? Стихи не дело, Марья Кондратьевна.

- Как вы во всем столь умны, как это вы во всем произошли? - ласкался все более и более женский голос.

- Я бы не то еще мог-с, я бы и не то еще знал-с, если бы не жребий мой с самого моего сыздетства. Я бы на дуэли из пистолета того убил, который бы мне произнес, что я подлец, потому что без отца от Смердящей произошел, а они и в Москве это мне в глаза тыкали, откуда благодаря Григорию Васильевичу переползло-с. Григорий Васильевич попрекает, что я против рождества бунтую: "ты дескать ей ложесна разверз". Оно пусть ложесна, но я бы дозволил убить себя еще во чреве с тем, чтобы лишь на свет не происходить вовсе-с. На базаре говорили, а ваша маменька тоже рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что ходила она с колтуном на голове, а росту была всего двух аршин с малым. Для чего же с малым, когда можно просто с малым сказать, как все люди произносят? Слезно выговорить захотелось, так ведь это мужицкая так-сказать слеза-с, мужицкие самые чувства. Может ли русский мужик

против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого сыздетства, как услышу бывало "с мальим", так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна.

- Когда бы вы были военным юнкерочком, али гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать.

- Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю напротив уничтожения всех солдат-с.

- А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?

- Да и не надо вовсе-с. В Двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо кабы нас тогда покорили эти самые французы: Умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с.

- Да будто они там у себя так уж лучше наших? Я иного нашего щеголочка на трех молодых самых англичан не променяю. - нежно проговорила Марья Кондратьевна, должно быть сопровождая в эту минуту слова свои самыми томными глазками.

- Это как кто обожает-с.

- А вы и сами точно иностранец, точно благородный самый иностранец, уж это я вам чрез стыд говорю.

- Если вы желаете знать, то по разврату и тамошние и наши все похожи. Все шельмы-с, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит, и ничего в этом дурного не находит. Русский народ надо пороть-с, как правильно говорил вчера Федор Павлович, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми-с.

- Вы Ивана Федоровича, говорили сами, так уважаете.

- А они про меня отнеслись, что я вонючий лакей. Они меня считают, что я бунтовать могу; это они ошибаются-с. Была бы в кармане моем такая сумма и меня бы здесь давно не было. Дмитрий Федорович хуже всякого лакея и поведением, и умом, и нищетой своею-с, и ничего-то он не умеет делать, а напротив, от всех почтен. Я, положим, только бульйонщик, но я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке. Потому что я готовлю специально, а ни один из них в Москве, кроме иностранцев, не может подать специально. Дмитрий Федорович голоштанник-с, а вызови он на дуэль самого первейшего графского сына, и тот с ним пойдет-с, а чем он лучше меня-с? Потому что он не в пример меня глупее. Сколько денег просвистал без всякого употребления-с.

- На дуэли очень, я думаю, хорошо, - заметила вдруг Марья Кондратьевна.

- Чем же это-с?

- Страшно так и храбро, особенно коли молодые офицерики с пистолетами в руках один против другого палят за которую-нибудь. Просто картинка. Ах кабы девиц пускали смотреть, я ужасно как хотела бы посмотреть.

- Хорошо коли сам наводит, а коли ему самому в самое рыло наводят, так оно тогда самое глупое чувство-с. Убежите с места, Марья Кондратьевна.

- Неужто вы побежали бы?

Но Смердяков не удостоил ответить. После минутного молчания раздался опять аккорд и фистула залилась последним куплетом:

"Сколько ни стараться
Стану удаляться,
Жизнью наслажда-а-аться
И в столице жить!
Не буду тужить.
Совсем не буду тужить,
Совсем даже не намерен тужить!"

Тут случилась неожиданность: Алеша вдруг чихнул; на скамейке мигом притихли. Алеша встал и пошел в их сторону. Это был действительно Смердяков, разодетый, напомаженный и чуть ли не завитой, в лакированных ботинках. Гитара лежала на скамейке. Дама же была Марья Кондратьевна, хозяйкина дочка; платье на ней было светлоголубое, с двухаршинным хвостом; девушка была еще молоденькая и не дурная бы собой, но с очень уж круглым лицом и со страшными веснушками.

- Брат Дмитрий скоро воротится? - сказал Алеша как можно спокойнее.

Смердяков медленно приподнялся со скамейки; приподнялась и Марья Кондратьевна.

- Почему ж бы я мог быть известен про Дмитрия Федоровича; другое дело, кабы я при них сторожем состоял? - тихо, раздельно и пренебрежительно ответил Смердяков.

- Да я просто спросил, не знаете ли? - объяснил Алеша.

- Ничего я про ихнее пребывание не знаю, да и знать не желаю-с.

- А брат мне именно говорил, что вы-то и даете ему знать обо всем, что в доме делается, и обещались дать знать, когда придет Аграфена Александровна.

Смердяков медленно и невозмутимо вскинул на него глазами.

- А вы как изволили на сей раз пройти, так как ворота здешние уж час как на щеколду затворены? - спросил он, пристально смотря на Алешу.

- А я прошел с переулка через забор прямо в беседку. Вы, надеюсь, извините меня в этом, - обратился он к Марье Кондратьевне, - мне надо было захватить скорее брата.

- Ах можем ли мы на вас обижаться, - протянула Марья Кондратьевна, польщенная извинением Алеши, - так как и Дмитрий Федорович часто этим манером в беседку ходят, мы и не знаем, а он уж в беседке сидит.

- Я его теперь очень ищущу, я очень бы желал его видеть или от вас узнать, где он теперь находится. Поверьте, что по очень важному для него же самому делу.

- Они нам не сказываются, - пролепетала Марья Кондратьевна.

- Хотя бы я и по знакомству сюда приходил, - начал вновь Смердяков, - но они и здесь меня бесчеловечно стеснили беспрестанным спросом про барина: что дескать, да как у них, кто приходит и кто таков уходит, и не могу ли я что иное им сообщить? Два раза грозили мне даже смертью.

- Как это смертью? - удивился Алеша.

- А для них разве это что составляет-с, по ихнему характеру, который сами вчера изволили наблюдать-с. Если, говорят, Аграфену Александровну пропущу, и она здесь переночует - не быть тебе первому живу. Боюсь я их очень-с, и кабы не боялся еще пуще того, то заявить бы должен на них городскому начальству. Даже бог знает что произвести могут-с.

- Намедни сказали им: "в ступе тебя истолку", - прибавила Марья Кондратьевна.

- Ну если в ступе, то это только может быть разговор... - заметил Алеша.

- Если б я его мог сейчас встретить, я бы мог ему что-нибудь и об этом сказать...

- Вот что единственно могу сообщить, - как бы надумался вдруг Смердяков. - Бываю я здесь по-всегдашнему соседскому знакомству, и как же бы я не ходил-с? С другой стороны Иван Федорович, чем свет сегодня послали меня к ним на квартиру в ихнюю Озерную улицу, без письма-с, с тем, чтобы Дмитрий Федорович на словах непременно пришли в здешний трактир-с на площади, чтобы вместе обедать. Я пошел-с, но Дмитрия Федоровича я на квартире ихней не застал-с, а было уж восемь часов: "был, говорят, да весь вышел", - этими самыми словами их хозяева сообщили. Тут точно у них заговор какой-с, обоюдный-с. Теперь же, может быть, они в эту самую минуту в трактире этом сидят с братцем Иваном Федоровичем, так как Иван Федорович домой обедать не приходили, а Федор Павлович отобедали час тому назад одни и теперь почивать легли. Убедительнейше однако прошу, чтобы вы им про меня и про то, что я сообщил, ничего не говорили-с, ибо они ни за что убьют-с.

- Брат Иван звал Дмитрия сегодня в трактир? - быстро переспросил Алеша.

- Это точно так-с.

- В трактир Столичный город, на площади?

- В этот самый-с.

- Это очень возможно! - воскликнул Алеша в большом волнении. - Благодарю вас, Смердяков, известие важное, сейчас пойду туда.

- Не выдавайте-с, - проговорил ему вслед Смердяков.

- О нет, я в трактир явлюсь как бы нечаянно, будьте покойны.

- Да куда же вы, я вам калитку отопру, - крикнула было Марья Кондратьевна.

- Нет, здесь ближе, я опять чрез плетень.

Известие страшно потрясло Алешу. Он пустился к трактиру. В трактир ему входить было в его одежде неприлично, но осведомиться на лестнице и вызвать их, это было возможно. Но только что он подошел к трактиру, как вдруг отворилось одно окно и сам брат Иван закричал ему из окна вниз.

- Алеша, можешь ты ко мне сейчас войти сюда или нет? Одолжишь ужасно.
- Очень могу, только не знаю, как мне в моем платье.
- А я как раз в отдельной комнате, ступай на крыльцо, я сбегу навстречу...
Через минуту Алеша сидел рядом с братом. Иван был один и обедал.

III. БРАТЯ ЗНАКОМЯТСЯ.

Находился Иван однако не в отдельной комнате. Это было только место у окна, отгороженное ширмами, но сидевших за ширмами все-таки не могли видеть посторонние. Комната эта была входная, первая, с буфетом у боковой стены. По ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь старичок отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня, слышались призывные крики, откупоривание пивных бутылок, стук бильярдных шаров, гудел орган. Алеша знал, что Иван в этот трактир почти никогда не ходил и до трактиров вообще не охотник; стало быть именно потому только и очутился здесь, подумал он, - чтобы сойтись по условию с братом Дмитрием. И однако брата Дмитрия не было.

- Прикажу я тебе ухи аль чего-нибудь, не чаем же ведь ты одним живешь,
- крикнул Иван, повидимому ужасно довольный, что залучил Алешу. Сам он уж кончил обед и пил чай.

- Ухи давай, давай потом и чаю, я проголодался, - весело проговорил Алеша.

- А варенья вишневого? Здесь есть. Помнишь, как ты маленький у Поленова вишневое варенье любил?

- А ты это помнишь? Давай и варенья, я и теперь люблю.

Иван позвонил полового и приказал уху, чай и варенья.

- Я все помню, Алеша, я помню тебя до одиннадцати лет, мне был тогда пятнадцатый год. Пятнадцать и одиннадцать, это такая разница, что братья в эти годы никогда не бывают товарищами. Не знаю, любил ли я тебя даже. Когда я уехал в Москву, то в первые годы я даже и не вспоминал об тебе вовсе. Потом, когда ты сам попал в Москву, мы раз только, кажется, и встретились где-то. А вот здесь я уже четвертый месяц живу, и до сих пор мы с тобой не сказали слова. Завтра я уезжаю и думал сейчас, здесь сидя: как бы мне его увидеть, чтобы проститься, а ты и идешь мимо.

- А ты очень желал меня увидеть?

- Очень, я хочу с тобой познакомиться раз навсегда и тебя с собой познакомить. Да с тем и проститься. По-моему всего лучше знакомиться пред разлукой. Я видел, как ты на меня смотрел все эти три месяца, в глазах твоих было какое-то непрерывное ожидание, а вот этого-то я и не терплю, оттого и не подошел к тебе. Но в конце я тебя научился уважать: твердо дескать стоит человек. Заметь, я хоть и смеюсь теперь, но говорю серьезно. Ведь ты твердо стоишь, да? Я таких твердых люблю, на чем бы там они ни стояли, и будь они такие маленькие мальчуганы, как ты. Ожидаящий взгляд твой стал мне вовсе под конец не противен; напротив, полюбил я наконец твой ожидающий взгляд... Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша?

- Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя: Иван - могила. Я говорю про тебя: Иван - загадка. Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняшнего утра!

- Что ж это такое? - засмеялся Иван.

- А не рассердишься? - засмеялся и Алеша.

- Ну?

- А то, что ты такой же точно молодой человек, как и все остальные двадцатитрехлетние молодые люди, такой же молодой, молоденький, свежий и славный мальчик, ну желторотый наконец мальчик! Что, не очень тебя обидел?

- Напротив поразил совпадением! - весело и с жаром вскричал Иван. - Верить ли, что я, после давешнего нашего свидания у ней, только об этом про себя и думал, об этой двадцатитрехлетней моей желторотости, а ты вдруг

теперь точно угадал и с этого самого начинаешь. Я сейчас здесь сидел и, знаешь, что говорил себе: не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все напротив беспорядочный, проклятый и может быть бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, – а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! Впрочем к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не долью всего и отойду... не знаю куда. Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость, – всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту иступленную и неприличную может быть жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, то-есть опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлю, особенно поэты. Черта-то она отчасти Карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему ж она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алешка. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорос иной подвиг человеческий, в который давно уже может быть перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтить его сердцем. Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят. Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, – в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь... Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? – засмеялся вдруг Иван.

– Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить, – прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, – воскликнул Алеша. – Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

– Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

– Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь. непременно, чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен.

– Уж ты и спасаешь, да я и не погибал может быть! А в чем она вторая твоя половина?

– В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые может быть никогда и не умирали. Ну давай чаю. Я рад, что мы говорим, Иван.

– Ты, я вижу, в каком-то вдохновении. Ужасно я люблю такие professions de foi вот от таких... послушников. Твердый ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти?

– Правда. Мой старец меня в мир посылает.

– Увидимся еще стало быть в миру-то, встретимся до тридцати-то лет, когда я от кубка-то начну отрываться. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до семидесяти лет, до восьмидесяти даже мечтает, сам говорил, у него это слишком серьезно, хоть он и шут. Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне... хотя после тридцати-то лет, правда, и не на чем пожалуй стать, кроме как на этом... Но до семидесяти подло, лучше до тридцати: можно сохранить "оттенок благородства", себя надувая. Не видал сегодня Дмитрия?

– Нет, не видал, но я Смердякова видел. – И Алеша рассказал брату наскоро и подробно о своей встрече с Смердяковым. Иван стал вдруг очень озабоченно слушать, кое-что даже переспросил.

– Только он просил меня брату Дмитрию не рассказывать о том, что он о нем говорил, – прибавил Алеша. Иван нахмурился и задумался.

– Ты это из-за Смердякова нахмурился? – спросил Алеша.

– Да, из-за него. К чорту его, Дмитрия я действительно хотел было

видеть, но теперь не надо... - неохотно проговорил Иван.

- А ты в самом деле так скоро уезжаешь, брат?

- Да.

- Что же Дмитрий и отец? Чем это у них кончится? - тревожно промолвил Алеша.

- А ты все свою канитель! Да я-то тут что? Сторож я что ли моему брату Дмитрию? - раздражительно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся - Каинов ответ богу об убитом брате, а? Может быть ты это думаешь в эту минуту? Но чорт возьми, не могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем? Дела кончил, и еду. Уж не думаешь ли ты, что я ревную к Дмитрию, что я отбивал у него все эти три месяца его красавицу Катерину Ивановну. Э, чорт, у меня свои дела были. Дела кончил и еду. Дела давеча кончил, ты был свидетелем.

- Это давеча у Катерины Ивановны?

- Да, у ней, и разом развязался. И что ж такое? Какое мне дело до Дмитрия? Дмитрий тут не при чем. У меня были только собственные дела с Катериной Ивановной. Сам ты знаешь напротив, что Дмитрий вел себя так как будто был в заговоре со мной. Я ведь не просил его нисколько, а он сам мне торжественно ее передал и благословил. Это все смеху подобно. Нет, Алеша, нет, если бы ты знал, как я себя теперь легко чувствую! Я вот здесь сидел и обедал, и веришь ли, хотел было спросить шампанского, чтоб отпраздновать первый мой час свободы. Тьфу, полгода почти, - и вдруг разом, все разом снял. Ну подозревал ли я даже вчера, что это, если захотеть, то ничего не стоит кончить!

- Ты про любовь свою говоришь, Иван?

- Любовь, если хочешь, да, я влюбился в барышню, в институтку. Мучился с ней, и она меня мучила. Сидел над ней... и вдруг все слетело. Давеча я говорил вдохновенно, а вышел и расхохотался, - веришь этому. Нет, я буквально говорю.

- Ты и теперь так это весело говоришь, - заметил Алеша, вглядываясь в его в самом деле повеселевшее вдруг лицо.

- Да почему же я знал, что я ее вовсе не люблю! Хе-хе! Вот и оказалось, что нет. А ведь как она мне нравилась! Как она мне даже давеча нравилась, когда я речь читал. И знаешь ли, и теперь нравится ужасно, - а между тем, как легко от нее уехать. Ты думаешь, я фанфароню?

- Нет. Только это может быть не любовь была.

- Алешка, - засмеялся Иван, - не пускайся в рассуждения о любви! Тебе неприлично. Давеча-то, давеча-то ты выскочил, ай! Я еще и забыл поцеловать тебя за это... А мучила-то она меня как! Воистину у надрыва сидел. Ох, она знала, что я ее люблю! Любила меня, а не Дмитрия, - весело настаивал Иван. - Дмитрий только надрыв. Все, что я давеча ей говорил, истинная правда. Но только в том дело, самое главное, что ей нужно может быть лет пятнадцать аль двадцать, чтобы догадаться, что Дмитрия она вовсе не любит, а любит только меня, которого мучает. Да пожалуй и не догадается она никогда, несмотря даже на сегодняшний урок. Ну и лучше: встал да и ушел навеки. Кстати, что она теперь? Что там было, когда я ушел?

Алеша рассказал ему об истерике, и о том, что она, кажется, теперь в беспамятстве и в бреде.

- А не врет Хохлакова?

- Кажется, нет.

- Надо справиться. От истерики впрочем никогда и никто не умирал. Да и пусть истерика, бог женщине послал истерику любя. Не пойду я туда вовсе. К чему лезть опять.

- Ты однако же давеча ей сказал, что она никогда тебя не любила.

- Это я нарочно. Алешка, прикажу-ка я шампанского, выпьем за мою свободу. Нет, если бы ты знал, как я рад!

- Нет, брат, не будем лучше пить, - сказал вдруг Алеша, - к тому же мне как-то грустно.

- Да, тебе давно грустно, я это давно вижу.

- Так ты непременно завтра утром поедешь?

- Утром? я не говорил, что утром... А впрочем может и утром. Веришь ли, я ведь здесь обедал сегодня единственно, чтобы не обедать со стариком, до того он мне стал противен. Я от него от одного давно бы уехал. А ты что так беспокоишься, что я уезжаю. У нас с тобой еще бог знает сколько времени до

отъезда. Целая вечность времени, бессмертие!

- Если ты завтра уезжаешь, какая же вечность?

- Да нас-то с тобой чем это касается? - засмеялся Иван, - ведь свое-то мы успеем все-таки переговорить, свое-то, для чего мы пришли сюда? Чего ты глядишь с удивлением? Отвечай: мы для чего здесь сошлись? Чтобы говорить о любви к Катерине Ивановне, о старике и Дмитрие? О загранице? О роковом положении России? Об императоре Наполеоне? Так ли, для этого ли?

- Нет, не для этого.

- Сам понимаешь, значит, для чего. Другим одно, а нам, желторотым, другое, нам прежде всего надо предвечные вопросы разрешить, вот наша забота. Вся молодая Россия только лишь о вековых вопросах теперь и толкует. Именно теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. Ты из-за чего все три месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить меня: "како веруеши, али вовсе не веруеши", - вот ведь к чему сводились ваши трехмесячные взгляды, Алексей Федорович, ведь так?

- Пожалуй что и так, - улыбнулся Алеша. - Ты ведь не смеешься теперь надо мною, брат?

- Я-то смеюсь? Не захочу я огорчить моего братишку, который три месяца глядел на меня в таком ожидании. Алеша, взгляни прямо: я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты, разве только вот не послушник. Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то-есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?

- Да, настоящим русские вопросы о том: есть ли бог и есть ли бессмертие, или, как вот ты говоришь, вопросы с другого конца, конечно первые вопросы и прежде всего, да так и надо, - проговорил Алеша, все с тою же тихой и испытующею улыбкой вглядываясь в брата.

- Вот что, Алеша, быть русским человеком иногда вовсе не умно, но все-таки глупее того, чем теперь занимаются русские мальчики, и представить нельзя себе. Но я одного русского мальчика, Алешку, ужасно люблю.

- Как ты это славно подвел, - засмеялся вдруг Алеша.

- Ну говори же, с чего начинать, приказывай сам, - с бога? Существует ли бог, что ли?

- С чего хочешь, с того и начинай, хоть с "другого конца". Ведь ты вчера у отца провозгласил, что нет бога, - пытливо поглядел на брата Алеша.

- Я вчера за обедом у старика тебя этим нарочно дразнил и видел, как у тебя разгорались глазки. Но теперь я вовсе не прочь с тобой переговорить и говорю это очень серьезно. Я с тобой хочу сойтись. Алеша, потому что у меня нет друзей, попробовать хочу. Ну, представь же себе, может быть и я принимаю бога, - засмеялся Иван, - для тебя это неожиданно, а?

- Да конечно, если ты только и теперь не шутишь.

- Шутишь. Это вчера у старца сказали, что я шучу. Видишь, голубчик, был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрек, что если бы не было бога, то следовало бы его выдумать, *s'il n'existait pas Dieu il faudrait l'inventer*. И действительно человек выдумал бога. И не то странно, не то было бы дивно, что бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль - мысль о необходимости бога - могла залезть в голову такому дикому и злому животному каков человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того она делает честь человеку. Что же до меня, то я давно уже положил не думать о том: человек ли создал бога или бог человека? Не стану я, разумеется, тоже перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что, что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома и не только у мальчиков, но пожалуй и у ихних профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики. А потому обхожу все гипотезы. Ведь у нас с тобой какая теперь задача? Задача в том, чтоб я как можно скорее мог объяснить тебе мою суть, . то-есть что я за человек, во что

верую и на что надеюсь, ведь так, так? А потому и объявляю, что принимаю бога прямо и просто. Но вот однако что надо отметить: если бог есть и если он действительно создал землю, то, как нам совершенно известно, создал он ее по эвклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная, или еще обширнее, – все бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые по Эвклиду ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне про бога понять. Я смиренно сознаюсь, что у меня нет никаких способностей разрешать такие вопросы, у меня ум эвклидовский, земной, а потому где нам решать о том, что не от мира сего. Да и тебе советую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще всего насчет бога: есть ли он или нет? Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю бога и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость его, и цель его, – нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в слово, к которому стремится вселенная и которое само "бе к богу" и которое есть само бог, ну и прочее и прочее, и т. д. в бесконечность. Слов-то много на этот счет наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге – а? Ну так представь же себе, что в окончательном результате я мира этого божьего – не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького как атом человеческого эвклидовского ума, что наконец в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми, – пусть, пусть это все будет и явится, но я-то этого не принимаю и не хочу принять! Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу: увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму. Вот моя суть, Алеша, вот мой тезис. Это уж я серьезно тебе высказал. Я нарочно начал этот наш с тобой разговор как глупее нельзя начать, но довел до моей исповеди, потому что ее только тебе и надо. Не о боге тебе нужно было, а лишь нужно было узнать, чем живет твой любимый тобой брат. Я и сказал.

Иван заключил свою длинную тираду вдруг с каким-то особенным и неожиданным чувством.

– А для чего ты начал так, как "глупее нельзя начать"? – спросил Алеша, задумчиво смотря на него.

– Да во-первых, хоть для руссизма: русские разговоры на эти темы все ведутся как глупее нельзя вести. А во-вторых, опять-таки чем глупее, тем ближе к делу. Чем глупее, тем и яснее. Глупость коротка и не хитра, а ум виляет и прячется. Ум подлец, а глупость пряма и честна. Я довел дело до моего отчаяния, и чем глупее я его выставил, тем для меня же выгоднее.

– Ты мне объяснишь, для чего "мира не принимаешь"? – проговорил Алеша.

– Уж конечно объясню, не секрет, к тому и вел. Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя, я может быть себя хотел бы исцелить тобой, – улыбнулся вдруг Иван совсем как маленький кроткий мальчик. Никогда еще Алеша не видал у него такой улыбки.

IV. БУНТ.

– Я тебе должен сделать одно признание, – начал Иван: – я никогда не

мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то по-моему и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я читал вот как-то и где-то про "Иоанна Милостивого" (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это сделал с надрывом, с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое – пропала любовь.

– Об этом не раз говорил старец Зосима, – заметил Алеша, – он тоже говорил, что лицо человека часто многим еще неопытным в любви людям мешает любить. Но ведь есть и много любви в человечестве, и почти подобной Христовой любви, это я сам знаю, Иван...

– Ну я-то пока еще этого не знаю и понять не могу, и бесчисленное множество людей со мной тоже. Вопрос ведь в том, от дурных ли качеств людей это происходит, или уж от того, что такова их натура. По-моему Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был бог. Но мы-то не боги. Положим, я например глубоко могу страдать, но другой никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я, и сверх того редко человек согласится признать другого за страдальца (точно будто это чин). Почему не согласится, как ты думаешь? Потому, например, что от меня дурно пахнет, что у меня глупое лицо, потому что я раз когда-то отдал ему ногу. К тому же страдание и страдание: унижительное страдание, унижающее меня, голод, например, еще допустит во мне мой благодетель, но чуть повыше страдание, за идею, например, нет, он это в редких разве случаях допустит, потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе не то лицо, какое по его фантазии должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, идею. Вот он и лишает меня сейчас же своих благодеяний и даже вовсе не от злого сердца. Нищие, особенно благородные нищие, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню чрез газеты. Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить. Но довольно об этом. Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уже про одних детей. Тем не выгоднее для меня, разумеется. Но во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне однако же кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что, кроме того что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко и познали добро и зло и стали "яко божи". Продолжают и теперь есть его. Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем невинны. Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж конечно за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, – но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать невинному за другого, да еще такому невинному! Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, Карамазовцы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей совсем будто другое существо и с другою природой. Я знал одного разбойника в остроге: ему случалось в свою карьеру, избивая целые семейства в домах, в которые забирался по ночам для грабежа, зарезать заодно несколько и детей. Но, сидя в остроге, он их до странности любил. Из окна острога он только и делал, что смотрел на играющих на тюремном дворе детей. Одного маленького мальчика он приучил приходиться к нему под окно, и тот очень сдружился с ним... Ты не знаешь, для чего я это все говорю, Алеша? У меня как-то голова болит и мне грустно.

– Ты говоришь с странным видом, – с беспокойством заметил Алеша, – точно ты в каком безумии.

– Кстати, мне недавно рассказывал один болгарин в Москве, – продолжал

Иван Федорович, как бы и не слушая брата, – как турки и черкесы там у них, в Болгарии, повсеместно злодействуют, опасаясь поголовного восстания славян, – то-есть жгут, режут, насилуют женщин и детей, прибивают арестантам уши к забору гвоздями и оставляют так до утра, а по-утру вешают – и проч., всего и вообразить невозможно. В самом деле, выражаются иногда про "зверскую" жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток как человек, так артистически, так художественно жесток. Тигр просто грызет, рвет, и только это и умеет. Ему и в голову не вошло бы прибивать людей за уши на ночь гвоздями, если б он даже и мог это сделать. Эти турки между прочим с сладострастием мучили и детей, начиная с вырезания их кинжалом из чрева матери, до бросания вверх грудных младенцев и подхватывания их на штык в глазах матерей. На глазах-то матерей и составляло главную сладость. Но вот однако одна меня сильно заинтересовавшая картинка. Представь: грудной младенец на руках трепещущей матери, кругом вошедшие турки. У них затеялась веселая штучка: они ласкают младенца, смеются, чтоб его рассмешить, им удается, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет в четырех вершках расстояния от его лица. Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтоб схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему головку... Художественно, не правда ли? Кстати, турки, говорят, очень любят сладкое.

– Брат, к чему это все? – спросил Алеша.

– Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию.

– В таком случае, равно как и бога.

– А ты удивительно как умеешь оборачивать словечки, как говорит Полоний в Гамлете, – засмеялся Иван. – Ты поймал меня на слове, пусть, я рад. Хорош же твой бог, коль его создал человек по своему образу и подобию. Ты спросил сейчас, для чего я это все: я, видишь ли, любитель и собиратель некоторых фактиков и, веришь ли, записываю и собираю из газет и рассказов, откуда попало, некоторого рода анекдотики, и у меня уже хорошая коллекция. Турки конечно вошли в коллекцию, но это все иностранцы. У меня есть и родные штучки и даже получше турецких. Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть, и это национально: у нас прибитые гвоздями уши немислимы, мы все-таки европейцы, но розги, но плеть, это нечто уже наше и не может быть у нас отнято. За границей теперь как будто и не бьют совсем, нравы что ли очистились, али уж законы такие устроились, что человек человека как будто уж и не смеет посечь, но за то они вознаградили себя другим и тоже чисто национальным, как и у нас, и до того национальным, что у нас оно как будто и не возможно, хотя впрочем, кажется, и у нас прививается, особенно со времени религиозного движения в нашем высшем обществе. Есть у меня одна прелестная брошюрка, перевод с французского, о том, как в Женеве, очень недавно, всего лет пять тому, казнили одного злодея и убийцу, Ришара, двадцатитрехлетнего, кажется, малого, раскаявшегося и обратившегося к христианской вере пред самым эшафотом. Этот Ришар был чей-то незаконнорожденный, которого еще младенцем, лет шести, подарили родители каким-то горным швейцарским пастухам и те его взрастили, чтоб употреблять в работу. Рос он у них как дикий зверенок, не научили его пастухи ничему, напротив, семи лет уже посылали пасти стадо, в мокреть и в холод, почти без одежды и почти не кормя его. И уж конечно так делая, никто из них не задумывался и не раскаивался, напротив считал себя в полном праве, ибо Ришар подарен им был как вещь и они даже не находили необходимым кормить его. Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поесть хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу свиньям, но ему не давали даже и этого и били, когда он крал у свиней, и так провел он все детство свое и всю юность, до тех пор, пока возрос и, укрепившись в силах, пошел сам воровать. Дикарь стал добывать деньги поденною работой в Женеве, добытое пропивал, жил как изверг и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил. Его схватили, судили и присудили к смерти. Там ведь не сентиментальничают. И вот в тюрьме его немедленно окружают пасторы и члены разных Христовых братств, благотворительные дамы и проч. Научили они его в тюрьме читать и писать, стали толковать ему Евангелие, усовещевали, убеждали, напирали, пилили, давили, и вот он сам торжественно сознается наконец в своем преступлении. Он обратился, он написал сам суду, что он изверг и что наконец-таки он

удостоился того, что и его озарил господь и послал ему благодать. Все взволновалось в Женеве, вся благотворительная и благочестивая Женевка. Все, что было высшего и благовоспитанного, ринулось к нему в тюрьму; Ришара целуют, обнимают: "ты брат наш, на тебя сошла благодать!" А сам Ришар только плачет в умилении: "да, на меня сошла благодать! Прежде я все детство и юность мою рад был корму свиней, а теперь сошла и на меня благодать, умираю во господе!" - "Да, да, Ришар, умри во господе, ты пролил кровь и должен умереть во господе. Пусть ты невиновен, что не знал совсем господина, когда завидовал корму свиней и когда тебя били за то, что ты крал у них корм (что ты делал очень не хорошо, ибо красть не позволено), - но ты пролил кровь и должен умереть". И вот наступает последний день. Расслабленный Ришар плачет и только и делает, что повторяет ежеминутно: "Это лучший из дней моих, я иду к господину!" - "Да", кричат пасторы, судьи и благотворительные дамы, "это счастливейший день твой, ибо ты идешь к господину!" Все это двигается к эшафоту вслед за позорною колесницей, в которой везут Ришара, в экипажах, пешком. Вот достигли эшафота: "умри, брат наш", кричат Ришару, "умри во господе, ибо и на тебя сошла благодать!" И вот покрытого поцелуями братьев, брата Ришара втащили на эшафот, положили на гильотину и оттапали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать. Нет, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшего общества и разослана для просвещения народа русского при газетах и других изданиях даром. Штука с Ришаром хороша тем, что национальна. У нас хоть нелепо рубить голову брату потому только, что он стал нам брат и что на него сошла благодать, но, повторяю, у нас есть свое, почти что не хуже. У нас историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья. У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь кнутом по глазам, "по кротким глазам". Этого кто ж не видал, это руссизм. Он описывает, как слабосильная лошаденка, на которую навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет с остервенением, бьет наконец не понимая, что делает, в опьянении битья сечет больно, бесчисленно: "Хоть ты и не в силах, а вези, умри, да вези!" Кляченка рвется, и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим, по "кротким глазам". Вне себя она рванула и вывезла и пошла вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно, - у Некрасова это ужасно. Но ведь это всего только лошадь, лошадей и сам бог дал, чтоб их сечь. Так татары нам растолковали и кнут на память подарили. Но можно ведь сечь и людей. И вот интеллигентный образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца семи лет, розгами, - об этом у меня подробно записано. Папенька рад, что прутья с сучками, "садче будет", говорит он, и вот начинает "сажать" родную дочь. Я знаю наверно, есть такие секущие, которые разгорячатся с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивней. Секут минуту, секут наконец пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок наконец не может кричать, задыхается "папа, папа, папочка, папочка!" Дело каким-то чортовым неприличным случаем доходит до суда. Нанимается адвокат. Русский народ давно уже называл у нас адвоката - "аблакат - нанятая совесть". Адвокат кричит в защиту своего клиента. "Дело дескать такое простое, семейное и обыкновенное, отец посек дочку и вот к стыду наших дней дошло до суда!" Убежденные присяжные удаляются и выносят оправдательный приговор. Публика ревет от счастья, что оправдали мучителя. - Э-эх, меня не было там, я бы рявкнул предложение учредить стипендию в честь имени истязателя!.. Картинки прелестные. Но о детках есть у меня и еще получше, у меня очень, очень много собрано о русских детках, Алеша. Девченок маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать "почтеннейшие и чиновные люди, образованные и воспитанные". Видишь, я еще раз положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многих в человечестве - это любовь к истязанию детей, но одних детей. Ко всем другим субъектам человеческого рода эти же самые истязатели относятся даже благосклонно и кротко как образованные и гуманные европейские люди, но очень любят мучить детей, любят даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищенность-то этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, - вот это-то и распалает гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке конечно таится зверь, - зверь гневливости, зверь сладострастной распалемости от криков истязуемой

жертвы, зверь без удержу спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и проч. Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься) – за это обмазывали ей все лицо ее же калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми незлобивыми, кроткими слезками к "боженьке", чтобы тот защитил его, – понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чортово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слез ребеночка к "боженьке". Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели и чорт с ними, и пусть бы их всех чорт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.

– Ничего, я тоже хочу мучиться, – пробормотал Алеша.

– Одну, только одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерная, и главное только что прочел в одном из сборников наших древностей, в Архиве, в Старине что ли, надо справиться, забыл даже где и прочел. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия, и да здравствует освободитель народа! Был тогда в начале столетия один генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких (правда и тогда уже, кажется, очень немногих), которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Ну вот живет генерал в своем поместье в две тысячи душ, чванится, третировать мелких соседей как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то играя камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. "Почему собака моя любимая охромела?" Докладывают ему, что вот дескать этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. "А, это ты, – оглядел его генерал, – взять его!" Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в кутузке, на утро чем свет выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом его приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть... "Гони его!" командует генерал, "беги, беги!" кричат ему псари, мальчик бежит... "Ату его!" вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!.. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка!

– Расстрелять! – тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата.

– Bravo! – завопил Иван в каком-то восторге, – уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!

– Я сказал нелепость, но...

– То-то и есть, что но... – кричал Иван. – Знай, послушник. что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит и без них может быть в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем что знаем!

– Что ты знаешь?

– Я ничего не понимаю, – продолжал Иван как бы в бреду, – я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте...

- Для чего ты меня испытываешь? - с надрывом горестно воскликнул Алеша, - скажешь ли мне наконец?

- Конечно скажу, к тому и вел, чтобы сказать. Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме.

Иван помолчал с минуту, лицо его стало вдруг очень грустно.

- Слушай меня: я взял одних деток, для того чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра - я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается, - но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что все прямо и просто одно из другого выходит, и что я это знаю - мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже на земле, и чтоб я его сам увидел. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я верую. Но вот однако же детки, и что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз повторяю - вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж конечно правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: "Прав ты, господи, ибо открылись пути твои!" Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: "Прав ты, господи", то уж конечно настанет венец познания и все объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь может быть и действительно так случится, что, когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтоб увидеть его, то и сам я пожалуй воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: "Прав ты, господи!" но я не хочу тогда восклицать, Пока еще время, спешу ограждать себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к "боженьке"! Не стоит потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены. И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так,

если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями не отомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.

- Это бунт, - тихо и потупившись проговорил Алеша.

- Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, - проникновенно сказал Иван. - Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя, - отвечай: Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бывшего себя кулаченком в грудь и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!

- Нет, не согласился бы, - тихо проговорил Алеша.

- И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?

- Нет, не могу допустить. Брат, - проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, - ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и зиждется здание, и это ему воскликнут: "Прав ты, господи, ибо открылись пути твои".

- А, это "единый безгрешный" и его кровь! Нет, не забыл о нем и удивлялся напротив все время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно, в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алеша, ты не смейся, я когда-то сочинил поэму, с год назад. Если можешь потерять со мной. еще минут десять, то я б ее тебе рассказал?

- Ты написал поэму?

- О нет, не написал, - засмеялся Иван, - и никогда в жизни я не сочинил даже двух стихов. Но я поэму эту выдумал и запомнил. С жаром выдумал. Ты будешь первый мой читатель, то-есть слушатель. Зачем в самом деле автору терять хоть единого слушателя, - усмехнулся Иван. - Рассказывать или нет?

- Я очень слушаю, - произнес Алеша.

- Поэма моя называется "Великий Инквизитор", вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить.

V. ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР.

Ведь вот и тут без предисловия невозможно, - то-есть без литературного предисловия, тфу! - засмеялся Иван, - а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, - тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, - тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления. в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых. Христа и самого бога. Тогда все это было очень простодушно. В Notre Dame de Paris у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Лудовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием: Le bon jugement de la tres sainte et gracieuse Vierge Marie, где и является она сама лично и произносит свой bon jugement. У нас в Москве, в до-Петровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам; но кроме

драматических представлений по всему миру ходило тогда много повестей и "стихов", в которых действовали по надобности святые ангелы, и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда – в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно с греческого): Хожение Богородицы по мукам, с картинами и со смелостью не ниже Дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит ее "по мукам" архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть между прочим один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так что уж и выплыть более не могут, то "тех уже забывает бог" – выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без различия. Разговор ее с богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда бог указывает ей на прогвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прошу его мучителей, – то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у бога остановку мук на всякий год, от великой пятницы до Троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят господина и вопиют к нему: "Прав ты, господи, что так судил". Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он; правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как он дал обетование придти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: "Се грядущи скоро". "О дне же сем и часе не знает даже и сын. токмо лишь отец мой небесный", как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залогов с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес.

И только лишь одна вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, "подобная светильнику" (то-есть церкви) "пала на источники вод, и стали они горьки". Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему попрежнему, ждуть его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде... И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: "Бо господи явися нам", столько веков зывало к нему, что он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил. посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их "житиях". У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновение к народу, – к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков.

О, это конечно было не то сошествие, в котором явится он, по обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, "как молния, блистающая от востока до запада". Нет, он возжелал хоть на мгновение посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему, он проходит еще раз между людей в том самом

образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на "стогны жаркие" южного города, как раз в котором всего лишь накануне в "великолепном автодафе", в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков ad majorem gloriam Dei. Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, – то-есть почему именно узнают его. Народ непобедимой силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целующая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: "Господи, исцели меня, да и я тебя узрю", и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: "Осанна!" "Это он, это сам он, повторяют все, это должен быть он, это никто как он". Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. "Он воскресит твое дитя", кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный папер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: ,,Если это ты, то воскреси дитя мое!" восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданьем, и уста его тихо и еще раз произносят: "Талифа куми" – "и восста девица". Девочка подымается в гробе, садится и смотрит улыбаясь удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала во гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впальми глазами, но из которых еще светится как огненная искорка блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов Римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и "священная" стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально вся как один человек склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и "бездыханная" севильская ночь. Воздух "лавром и лимоном пахнет". Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему:

– Это ты? ты? – Но не получая ответа быстро прибавляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же, по одному моему мановению бросится подгрести к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты может быть это знаешь, – прибавил он в проникновенном раздумьи, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего

пленника.

- Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? - улыбнулся все время молча слушавший Алеша, - прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное *qui pro quo*?

- Прими хоть последнее, - рассмеялся Иван, - если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического - хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, - рассмеялся он опять, - старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее, Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть наконец просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобой, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.

- А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?

- Да так и должно быть во всех даже случаях, - опять засмеялся Иван. - Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: "все дескать передано тобою папе и все стало быть теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере". В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. "Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел?" - спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него, - "нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: "Хочу сделать вас свободными". Но вот ты теперь увидел этих "свободных" людей, - прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. - "Да, это дело нам дорого стоило" - продолжал он строго смотря на него, - "но мы dokonчили наконец это дело, во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?"

- Я опять не понимаю, - прервал Алеша, - он иронизирует, смеется?

- Ни мало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу, и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. "Ибо теперь только (то-есть он конечно говорит про инквизицию) стало возможным помылить в первый раз о счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали", - говорит он ему, - "ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но к счастью уходя ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и уж конечно не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?"

- А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? - спросил Алеша.

- А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.

- "Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, - продолжает старик, - великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы "искушал" тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо "искушениями"? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее, громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помылить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных - правителей,

первосвященников, ученых, философов, поэтов, и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, – то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековым и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.

Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: "Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отынешь руку свою и прекратятся им хлебы твои". Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли и сразится с тобой и победит тебя и все пойдут за ним, восклицая: "Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!" Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть нет и греха, а есть лишь только голодные. "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, – ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своею башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: "Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали". И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и солжем, что во имя твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажу нам: "лучше поработите нас, но накормите нас". Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за тобой, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные как песок морской слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать, – так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую

поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв "хлебы", ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе – это: "пред кем преклониться?" Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: "бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим! И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, – о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того, чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда – ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, – и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того, чтоб овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона, – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, – но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем, то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, – эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то и другое и третье и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: "Если хочешь узнать, сын ли ты божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется и узнаешь тогда, сын ли ты божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего", но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно ты поступил тут гордо и великолепно как бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это – они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил господина, и веру в него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасти пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу

подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и бога, ибо человек ищет не столько бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то назодаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: "Сойди со креста и уверуем, что это ты". Ты не сошел потому, что, опять-таки, не захотел поработить человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо конечно они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал, - и это кто же, тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками без сомнения хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отметит за него. Итак, беспокойство, смятение и несчастье - вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаюсь акридами и кореньями, - и уж конечно ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы в праве были проповедывать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его, хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно, я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: Мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные; мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями

земными, царями едиными, хотя и донныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то-есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру Кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч Кесаря, а взяв его конечно отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу и на ней будет написано: "Тайна!" Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец ожидая тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными. когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: "Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих". Получая от нас хлебы конечно они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе как птенцы к наседке. Они будут дивиться, и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим

грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, – все судя по их послушанию, – и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, – все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то, уж конечно не для таких как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее "гадкое" тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: "Суди нас, если можешь и смеешь". Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жадной "восполнить число". Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi".

Иван остановился. Он разгорячился говоря и говорил с увлечением; когда же кончил, то вдруг улыбнулся.

Алеша, все слушавший его молча, под конец же, в чрезвычайном волнении, много раз пытавшийся перебить речь брата, но видимо себя сдерживавший, вдруг заговорил, точно сорвался с места.

– Но... это нелепость! – вскричал он краснея. – Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать! То ли понятие в православии... Это Рим, да и Рим не весь, это неправда, – это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!.. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастья людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, не то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то... Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором – римским первосвященником во главе... вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти... Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... в роде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками... вот и все у них. Они и в бога не веруют может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия...

– Да стой, стой, – смеялся Иван, – как ты разгорячился. Фантазия, говоришь ты, пусть! Конечно фантазия. Но позволь однако: неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ. Уж не отец ли Паисий так тебя учит?

– Нет, нет, напротив отец Паисий говорил однажды что-то в роде даже твоего... но конечно не то, совсем не то, – спохватился вдруг Алеша.

– Драгоценное однако же сведение, несмотря на твое: "совсем не то". Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться

ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество? Видишь: предположи, что нашелся хотя один из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ – хоть один только такой, как мой старик инквизитор, который сам ел корни в пустыне, и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но однако же всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ божиих остались устроенными лишь в насмешку, что никогда не в силах они будут справиться со своею свободой, что из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул... к умным людям. Неужели этого не могло случиться?

– К кому примкнул, к каким умным людям? – почти в азарте воскликнул Алеша. – Никакого у них нет такого ума, и никаких таких тайн и секретов... Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет!

– Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет, но разве это не страдание, хотя бы для такого как он человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, "недоделанные пробные существа, созданные в насмешку". И вот, убедясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман, и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и при том обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того, чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми. И заметь себе, обман во имя того, в идеал которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь! Разве это не несчастье? И если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, "жаждущей власти для одних только грязных благ", – то неужели же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того: довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась наконец настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами, высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть случались и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знает, может быть этот проклятый старик, столь упорно и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таких единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем, чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь в роде этой же тайны в основе их, и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и один пастырь... Впрочем защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом.

– Ты может быть сам масон! – вырвалось вдруг у Алеши. – Ты не веришь в бога, – прибавил он. но уже с чрезвычайною скорбью. Ему показалось к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. – Чем же кончается твоя поэма? – спросил он вдруг, смотря в землю, – или уж она кончена?

– Я хотел ее кончить так: когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо смотря ему прямо в глаза, и видимо не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, открывает ее и говорит ему: Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда! И выпускает его на "темные стогна града". Пленник уходит.

– А старик?

- Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее.
- И ты вместе с ним, и ты? - горестно воскликнул Алеша. Иван засмеялся.
- Да ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. К чему ты в такой серьез берешь? Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать в сонме людей, поправляющих его подвиг? О господи, какое мне дело! Я ведь тебе сказал: мне бы только до тридцати лет дотянуть, а там, - кубок об пол!

- А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь? - горестно восклицал Алеша. - С таким адом в груди и в голове разве это возможно? Нет, именно ты едешь, чтобы к ним примкнуть... а если нет, то убьешь себя сам, а не выдержишь!

- Есть такая сила, что все выдержит! - с холодной уже усмешкой проговорил Иван.

- Какая сила?

- Карамазовская... сила низости Карамазовской.

- Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да?

- Пожалуй и это... только до тридцати лет может быть я избегну, а там...

- Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями.

- Опять-таки по-Карамазовски.

- Это чтобы "все позволено"? Все позволено, так ли, так ли?

Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел.

- А, это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обиделся Миусов... и что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий? - криво усмехнулся он.

- Да, пожалуй: "все позволено", если уж слово произнесено. Не отрекаюсь. Да и редакция Митенькина недурна.

Алеша молча глядел на него.

- Я, брат, уезжая думал, что имею на всем свете хоть тебя, - с неожиданным чувством проговорил вдруг Иван, - а теперь вижу, что и в твоём сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы: "все позволено" я не отрекись, ну и что же, за это ты от меня отречешься, да, да?

Алеша встал, подошел к нему, и молча, тихо поцеловал его в губы.

- Литературное воровство! - вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг, - это ты украд из моей поэмы! Спасибо однако. Вставай, Алеша, идем, пора и мне и тебе.

Они вышли, но остановились у крыльца трактира.

- Вот что, Алеша, - проговорил Иван твердым голосом, - если в самом деле хватит меня на клейкие листочки, то любить их буду лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть, и жить еще не расхожу. Довольно этого тебе? Если хочешь, прими хоть за объяснение в любви. А теперь ты на право, я налево - и довольно, слышишь, довольно. То-есть, если я бы завтра и не уехал (кажется, уеду наверно) и мы бы еще опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слова. Настоятельно прошу. И насчет брата Дмитрия тоже, особенно прошу тебя, даже и не заговаривай со мной никогда больше, - прибавил он вдруг раздражительно, - все исчерпано, все переговорено, так ли? А я тебе с своей стороны за это тоже одно обещание дам: Когда к тридцати годам я захочу "бросить кубок об пол", то, где б ты ни был, я таки приду еще раз переговорить с тобой... хотя бы даже из Америки, это ты знай. Нарочно приеду. Очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени: каков-то ты тогда будешь? Видишь, довольно торжественное обещание. А в самом деле мы может быть лет на семь, на десять прощаемся. Ну иди теперь к твоему Pater Seraphicus, ведь он умирает; умрет без тебя, так еще пожалуй на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания, целуй меня еще раз, вот так, и ступай...

Иван вдруг повернулся и пошел своею дорогой, уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странное это замечаньице промелькнуло как стрелка в печальном уме Алеши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату. Почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде. Но вдруг он тоже повернулся и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно;

что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него. Когда он вошел в скитский лесок. Он почти бежал. "Pater Seraphicus" - это имя он откуда-то взял - откуда? промелькнуло у Алеши. Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу... Вот и скит, господи! Да, да, это он, это Pater Seraphicus, он спасет меня... от него и навеки!"

Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг, после того, как расстался с Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрие, которого утром, всего только несколько часов назад, положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь.

VI. ПОКА ЕЩЕ ОЧЕНЬ НЕ ЯСНАЯ.

А Иван Федорович, расставшись с Алешей, пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая и, главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нарастающая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде и не диво бы, что пришла она в такую минуту, когда он завтра же, порвав вдруг со всем, что его сюда привлекло, готовился вновь повернуть круто в сторону и вступить на новый, совершенно неведомый путь, и опять совсем одиноким, как прежде, много надеясь, но не зная на что, многого, слишком многого ожидая от жизни, но ничего не умея сам определить, ни в ожиданиях, ни даже в желаниях своих. И все-таки в эту минуту, хотя тоска нового и неведомого действительно была в душе его, мучило его вовсе не то. Уж не отвращение ли к родительскому дому? - подумал он про себя, - "похоже на то, до того опротивел, и хоть сегодня я в последний раз войду за этот скверный порог, а все-таки противно..." Но нет, и это не то. Уж не прощание ли с Алешей и бывший с ним разговор: "Столько лет молчал со всем светом и не удостоивал говорить, и вдруг нагородил столько ахинеи". В самом деле, это могла быть молодая досада молодой неопытности и молодого тщеславия, досада на то, что не сумел высказаться, да еще с таким существом, как Алеша, на которого в сердце его несомненно существовали большие расчеты. Конечно, и это было, то-есть эта досада, даже непременно должна была быть, но и это было не то, все не то. "Тоска до тошноты, а определить не в силах, чего хочу. Не думать разве"...

Иван Федорович попробовал было "не думать", но и тем не мог пособить. Главное, тем она была досадна, эта тоска, и тем раздражала, что имела какой-то случайный, совершенно внешний вид; это чувствовалось. Стояло и торчало где-то какое-то существо или предмет, в роде как торчит что-нибудь иногда пред глазами, и долго, за делом или в горячем разговоре, не замечаешь его, а между тем видимо раздражаешься, почти мучаешься, и наконец-то догадаешься отстранить негодный предмет, часто очень пустой и смешной, какую-нибудь вещь, забытую не на своем месте, платок, упавший на пол, книгу, не убранную в шкаф, и пр. и пр. Наконец Иван Федорович, в самом скверном и раздраженном состоянии духа, достиг родительского дома, и вдруг примерно шагов за пятнадцать от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило.

На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков, и Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков, и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. Все вдруг озарилось и стало ясно. Давеча, еще с рассказа Алеши о его встрече со Смердяковым, что-то мрачное и противное вдруг вонзилось в сердце его и вызвало в нем тотчас же ответную злобу. Потом, за разговором, Смердяков на время позабылся, но однакоже остался в его душе, и только что Иван Федорович расстался с Алешей и пошел один к дому, как тотчас же забытое ощущение вдруг быстро стало опять выходить наружу. "Да неужели же этот

дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить!" подумалось ему с нестерпимой злобой.

Дело в том, что Иван Федорович действительно очень не взлюбил этого человека в последнее время и особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нарастающую почти ненависть к этому существу. Может быть процесс ненависти так обострился именно потому, что в начале, когда только что приехал к нам Иван Федорович, происходило совсем другое. Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже очень оригинальным. Сам приучил его говорить с собою, всегда однако дивясь некоторой бестолковости или лучше сказать некоторому беспокойству его ума и не понимая, что такое "этого созерцателя" могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить. Они говорили и о философских вопросах и даже о том, почему светил свет в первый день, когда солнце, луна и звезды устроены были лишь на четвертый день, и как это понимать следует; но Иван Федорович скоро убедился, что дело вовсе не в солнце, луне и звездах, что солнце, луна и звезды предмет хотя и любопытный, но для Смердякова совершенно третьестепенный и что ему надо чего-то совсем другого. Так или этак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное и при том самолюбие оскорбленное. Ивану Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. Впоследствии начались в доме неурядицы, явилась Грушенька, начались истории с братом Дмитрием, пошли хлопоты, - говорили они и об этом, но хотя Смердяков вел всегда об этом разговор с большим волнением, а опять-таки никак нельзя было добиться, чего самому-то ему тут желается. Даже подивиться можно было нелогичности и беспорядку иных желаний его, поневоле выходявших наружу и всегда однако неясных. Смердяков все выспрашивал, задавал какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего - не объяснял того, и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал или переходил совсем на иное. Но главное, что раздражило наконец Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение - была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то, чтоб он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось однако ж дело, что Смердяков видимо стал считать себя бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим около них копошившимся смертным так даже и непонятное. Иван Федорович однако и тут долго не понимал этой настоящей причины своего нараставшего отвращения и наконец только лишь в самое последнее время успел догадаться в чем дело. С брезгливым и раздражительным ощущением хотел было он пройти теперь молча и не глядя на Смердякова в калитку, но Смердяков встал со скамейки, и уже по одному этому жесту Иван Федорович вмиг догадался, что тот желает иметь с ним особенный разговор. Иван Федорович поглядел на него и остановился и то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопческую испитую физиономию Смердякова с зачесанными гребешком височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: "чего идешь, не пройдешь, видишь, что обоим нам умным людям переговорить есть чего". Иван Федорович затрясся:

"Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!" полетело было с языка его, но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое:

- Что батюшка спит или проснулся? - тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно, он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину и глядел с уверенностью, почти строго.

- Еще почивают-с, - выговорил он неторопливо. ("Сам дескать первый заговорил, а не я".) - Удивляюсь я на вас, сударь, - прибавил он, помолчав, как-то жеманно опустив глаза. выставив правую ножку вперед и поигрывая носочком лакированной ботинки.

- С чего ты на меня удивляешься? - отрывисто и сурово произнес Иван Федорович, изо всех сил себя сдерживая, и вдруг с отвращением понял, что чувствует сильнейшее любопытство и что ни за что не уйдет отсюда, не удовлетворив его.

- Зачем вы, сударь, в Чермашню не едете-с? - вдруг вскинул глазками Смердяков и фамильярно улыбнулся. "А чему я улыбнулся, сам дескать должен понять, если умный человек", как бы говорил его прищуренный левый глазок.

- Зачем я в Чермашню поеду? - удивился Иван Федорович. Смердяков опять помолчал.

- Сами даже Федор Павлович так вас об том умоляли-с, - проговорил он наконец не спеша и как бы сам не ценя своего ответа: третью степенную дескать причиной отделяюсь, только чтобы что-нибудь сказать.

- Э, чорт, говори ясней, чего тебе надобно? - вскричал наконец гневно Иван Федорович, со смирения переходя на грубость.

Смердяков приставил правую ножку к левой, вытянулся прямой, но продолжал глядеть с тем же спокойствием и с тою же улыбкой.

- Существенного ничего нет-с... а так-с, к разговору... Наступило опять молчание. Промолчали чуть не с минуту. Иван Федорович знал, что он должен был сейчас встать и рассердиться, а Смердяков стоял пред ним и как бы ждал: "А вот посмотрю я, рассердишься ты или нет?" Так по крайней мере представлялось Ивану Федоровичу. Наконец он качнулся, чтобы встать. Смердяков точно поймал мгновение.

- Ужасное мое положение-с, Иван Федорович, не знаю даже, как и помочь себе, - проговорил он вдруг твердо и раздельно и с последним словом своим вздохнул. Иван Федорович тотчас же опять уселся.

- Оба совсем блажные-с, оба дошли до самого малого ребячества-с, - продолжал Смердяков. - Я про вашего родителя и про вашего братца-с Дмитрия Федоровича. Вот они встанут теперь, Федор Павлович, и начнут сейчас приставать ко мне каждую минуту: "Что не пришла? Зачем не пришла?" - и так вплоть до полуночи, даже и за полночь. А коль Аграфена Александровна не придет (потому что оне пожалуй совсем и не намерены вовсе никогда прийти-с), то накинутся на меня опять завтра поутру: "Зачем не пришла? Отчего не пришла, когда придет?" - точно я в этом в чем пред ними выхожу виноват. С другой стороны такая статья-с, как только сейчас смеркнется, да и раньше того, братец ваш с оружием в руках явится по соседству: "Смотри, дескать, шельма, бульйонщик: проглядишь ее у меня и не дашь мне знать, что пришла, - убью тебя прежде всякого". Пройдет ночь, на утро и они тоже как и Федор Павлович мучительно мучить меня начнут: "зачем не пришла, скоро ль покажется", - и точно я опять-таки и пред ними виноват выхожу-с в том, что ихняя госпожа не явилась. И до того с каждым днем и с каждым часом все дальше сердчат оба-с, что, думаю, иной час, от страху сам жизни себя лишит-с. Я, сударь, на них не надеюсь-с.

- А зачем ввязался? Зачем Дмитрию Федоровичу стал переносить? - раздражительно проговорил Иван Федорович.

- А как бы я не ввязался-с? Да я и не ввязывался вовсе, если хотите знать в полной точности-с. Я с самого начала все молчал, возражать не смея, а они сами определили мне своим слугой-Личардой при них состоять. Только и знают с тех пор одно слово: "Убью тебя, шельму, если пропустишь!" Наверно полагаю, сударь, что со мной завтра длинная падучая приключится.

- Какая такая длинная падучая?

- Длинный припадок такой-с, чрезвычайно длинный-с. Несколько часов-с али пожалуй день и другой продолжается-с. Раз со мной продолжалось это дня три, упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом зачнет опять; и я все три дня не мог в разум войти. За Герценштубе, за здешним доктором тогда Федор Павлович посылали-с, так тот льду к темени прикладывал, да еще одно средство употребил... Помереть бы мог-с.

- Да ведь, говорят, падучую нельзя заранее предугадать, что вот в такой-то час будет. Как же ты говоришь, что завтра придет? - с особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Федорович.

- Это точно что нельзя предугадать-с.

- К тому же ты тогда упал с чердака.

- На чердак каждый день лазею-с, могу и завтра упасть с чердака. А не с чердака, так в погреб упаду-с, в погреб тоже каждый день хожу-с, по своей надобности-с.

Иван Федорович длинно посмотрел на него.

- Плетешь ты, я вижу, и я тебя что-то не понимаю, - тихо, но как-то грозно проговорил он: - притвориться что ли ты хочешь завтра на три дня в падучей? а?

Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой ноги, поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед левую, поднял голову и усмехнувшись произнес:

- Если бы я даже эту самую штуку и мог-с, то-есть чтобы притвориться-с, и так как ее сделать совсем не трудно опытному человеку, то и тут я в полном праве моем это средство употребить для спасения жизни моей от смерти; ибо когда я в болезни лежу, то хотя бы Аграфена Александровна пришла к ихнему родителю, не могут они тогда с больного человека спросить: "зачем не донес". Сами постыдятся.

- Э, чорт! - вскинулся вдруг Иван Федорович с перекосившимся от злобы лицом. - Что ты все об своей жизни трусишь! Все эти угрозы брата Дмитрия только азартные слова и больше ничего. Не убьет он тебя; убьет да не тебя!

- Убьет как муху-с, и прежде всего меня-с. А пуще того я другого боюсь: чтобы меня в их сообществе не сочли, когда что нелепое над родителем своим учинят.

- Почему тебя сочтут сообщником?

- Потому сочтут сообщником, что я им эти самые знаки в секрете большом сообщил-с.

- Какие знаки? Кому сообщил? Чорт тебя побери, говори яснее!

- Должен совершенно признаться, - с педантским спокойствием тянул Смердяков. - что тут есть один секрет у меня с Федором Павловичем. Они, как сами изволите знать (если только изволите это знать), уже несколько дней, как то-есть ночь али даже вечер, так тотчас сызнутри и запрут-с. Вы каждый раз стали под конец возвращаться рано к себе на верх, а вчера так и совсем никуда не выходили-с, а потому может и не знаете, как они старательно начали теперь запирались на ночь. И приди хоть сам Григорий Васильевич, так они, разве что по голосу убедясь, ему отопрут-с. Но Григорий Васильевич не приходит-с, потому служу им теперь в комнатах один я-с, - так они сами определили с той самой минуты, как начали эту затею с Аграфеной Александровной, а на ночь так и я теперь, по ихнему распоряжению, удаляюсь и ночью во флигеле, с тем, чтобы до полночи мне не спать, а дежурить, вставать и двор обходить, и ждать, когда Аграфена Александровна придут-с, так как она вот уже несколько дней ее ждут, словно как помешанные. Рассуждают же они так-с: она, говорят, его боится, Дмитрия-то Федоровича (они его Митькой зовут-с), а потому ночью попозже задами ко мне пройдет; ты же, говорит, ее сторожи до самой полночи и больше. И если она придет, то ты к дверям подбеги и постучи мне в дверь, аль в окно из саду рукой два первые раза потише, этак: раз-два, а потом сейчас три раза поскорее: тук-тук-тук. Вот, говорят, я и пойму сейчас, что это она пришла, и отопру тебе дверь потихоньку. Другой знак сообщили мне на тот случай, если что экстренное произойдет: сначала два раза скоро: тук-тук, а потом, обождав еще один раз гораздо крепче. Вот они и поймут, что нечто случилось внезапно и что оченно надо мне их видеть, и тоже мне отопрут, а я войду и доложу. Все на тот случай, что Аграфена Александровна может сама не придти, а пришлет о чем-нибудь известить; окромя того Дмитрий Федорович тоже могут придти, так и о нем известить, что он близко. Оченно боятся они Дмитрия Федоровича, так что если бы даже Аграфена Александровна уже пришла и они бы с ней заперлись, а Дмитрий Федорович тем временем где появится близко, так и тут беспреренно обязан я им тотчас о том доложить постучавши три раза, так что первый-то знак в пять стуков означает: "Аграфена Александровна пришли", а второй знак в три стука - "оченно дескать надоть"; так сами по несколько раз на примере меня учили и разъясняли. А так как во всей вселенной о знаках этих знают всего лишь я да они-с, так они безо всякого уже сумления и нисколько не окликаая (вслух окликать они очень боятся) и отопрут. Вот эти самые знаки Дмитрию Федоровичу теперь и стали известны.

- Почему известны? Передал ты? Как же ты смел передать?

- От этого самого страху-с. И как же бы я посмел умолчать пред ними-с? Дмитрий Федорович каждый день напирали: "Ты меня обманываешь, ты от меня что скрываешь? Я тебе обе ноги сломаю!" Тут я им эти самые секретные знаки и сообщил, чтобы видели по крайности мое раболепие и тем самым удостоверились, что их не обманываю, а всячески им доношу.

- Если думаешь, что он этими знаками воспользуется и захочет войти, то ты его не пускай.

- А коли я сам в припадке буду лежать-с, как же я тогда не пушу-с, если

б я даже и мог осмелиться их не пустить-с, зная их столь отчаянными-с.

- Э, чорт возьми! Почему ты так уверен, что придет падучая, чорт тебя побери? Смеешься ты надо мной или нет?

- Как же бы я посмел над вами смеяться, и до смеху ли, когда такой страх? Предчувствую, что будет падучая, предчувствие такое имею, от страху от одного и придет-с.

- Э, чорт! Коли ты будешь лежать, то сторожить будет Григорий. Предупреди заранее Григория, уж он-то его не пустит.

- Про знаки я Григорию Васильевичу без приказа барина не смею никоим образом сообщить-с. А касательно того, что Григорий Васильевич их услышит и не пустит, так они как раз сегодня со вчерашнего расхворались, а Марфа Игнатьевна их завтра лечить намереваются. Так давеча и условились. А лечение это у них весьма любопытное-с: настойку такую Марфа Игнатьевна знают-с и постоянно держат, крепкую, на какой-то траве - секретом таким обладают-с. А лечат они этим секретным лекарством Григория Васильевича раза по три в год-с, когда у того поясница отнимается вся-с, в роде как бы с ним паралич-с, раза по три в год-с. Тогда они берут полотенце-с, мочат в этот настой и всю-то ему спину Марфа Игнатьевна трет полчаса-с, до суха-с, совсем даже покраснеет и вспухнет-с, а затем остальное, что в стклянке, дают ему выпить-с с некоторою молитвою-с, не все однако ж, потому что часть малую при сем редком случае и себе оставляют-с и тоже выпивают-с. И оба, я вам скажу, как не пьющие, так тут и свалятся-с и спят очень долгое время крепко-с; и как проснется Григорий Васильевич, то всегда почти после того здорово-с, а Марфа Игнатьевна проснется и у нее всегда после того голова болит-с. Так вот, если завтра Марфа Игнатьевна свое это намерение исполнят-с, так вряд ли им что услышать-с и Дмитрия Федоровича не допустить-с. Спать будут-с.

- Что за ахинея! И это все как нарочно так сразу и сойдется: и у тебя падучая, и те оба без памяти! - прокричал Иван Федорович: - да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось? - вырвалось у него вдруг, и он грозно нахмурил брови.

- Как же бы я так подвел-с... и для чего подводить, когда все тут от Дмитрия Федоровича одного и зависит-с, и от одних его мыслей-с... Захотят они что учинить - учинят-с, а нет, так не я же нарочно их приведу, чтобы к родителю их втолкнуть.

- А зачем ему к отцу приходиться, да еще потихоньку, если, как ты сам говоришь, Аграфена Александровна и совсем не придет, - продолжал Иван Федорович, бледнея от злобы; - сам же ты это говоришь, да и я все время, тут живя, был уверен, что старик только фантазирует и что не придет к нему эта тварь. Зачем же Дмитрию врываться к старику, если та не придет? Говори! Я хочу твои мысли знать.

- Сами извольте знать зачем придут, к чему же тут мои мысли? Придут по единой ихней злобе, али по своей мнительности в случае примерно моей болезни, усомнятся и пойдут с нетерпения искать в комнаты, как вчерашний раз: не прошла ли дескать она как-нибудь от них потихоньку. Им совершенно тоже известно, что у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем три тысячи запечатаны, под тремя печатями-с, обвязано ленточкою и надписано собственной их рукой: "ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти", а потом, дня три спустя подписали еще: "и цыпленочку". Так вот это-то и сомнительно-с.

- Вздор! - крикнул Иван Федорович почти в исступлении. - Дмитрий не пойдет грабить деньги, да еще убивать при этом отца. Он мог вчера убить его за Грушеньку, как исступленный злобный дурак, но грабить не пойдет!

- Им очень теперь нужны деньги-с, до последней крайности нужны, Иван Федорович. Вы даже не знаете сколь нужны, - чрезвычайно, спокойно и с замечательною отчетливостью изъяснил Смердяков. - Эти самые три тысячи-с они к тому же считают как бы за свои собственные и так сами мне объяснили: "мне, говорят, родитель остается еще три тысячи ровно должен". А ко всему тому рассудите, Иван Федорович, и некоторую чистую правду-с: ведь это почти что наверно так, надо сказать-с, что Аграфена Александровна, если только захотят они того сами, то непременно заставят их на себе жениться, самого барина то-есть, Федора Павловича-с, если только захотят-с, - ну, а ведь они может быть и захотят-с. Ведь я только так говорю, что она не придет, а она может быть и более того захочет-с, то-есть прямо барыней сделаться. Я сам знаю, что их купец Самсонов говорили ей самой со всею откровенностью, что это дело

будет весьма не глупое, и при том смеялись. А они сами умом очень не глупые-с. Им за гольша, каков есть Дмитрий Федорович, выходить не стать-с. Так вот теперь это взявши, рассудите сами, Иван Федорович, что тогда ни Дмитрию Федоровичу, ни даже вам-с с братцем вашим Алексеем Федоровичем уж ничего-то ровно после смерти родителя не останется, ни рубля-с, потому что Аграфена Александровна для того и выйдут за них, чтобы все на себя отписать и какие ни на есть капиталы на себя перевести-с. А помри ваш родитель теперь, пока еще этого нет ничего-с, то всякому из вас по сорока тысяч верных придется тотчас-с, даже и Дмитрию Федоровичу, которого они так ненавидят-с, так как завещания у них ведь не сделано-с... Это все отменно Дмитрию Федоровичу известно...

Что-то как бы перекошилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел.

- Так зачем же ты, - перебил он вдруг Смердякова, - после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет. - Иван Федорович с трудом переводил дух.

- Совершенно верно-с, - тихо и рассудительно проговорил Смердяков, пристально однако же следя за Иваном Федоровичем.

- Как совершенно верно? - переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами.

- Я говорил вас жалеючи. На вашем месте, если бы только тут я, так все бы это тут же бросил... чем у такого дела сидеть-с... - ответил Смердяков, с самым открытым видом смотря на сверкающие глаза Ивана Федоровича. Оба помолчали.

- Ты кажется большой идиот и уж конечно... страшный мерзавец! - встал вдруг со скамейки Иван Федорович. Затем тотчас же хотел было пройти в калитку, но вдруг остановился и повернулся к Смердякову. Произошло что-то странное: Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и - еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот по крайней мере это заметил в тот же миг вздрогнул и отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку.

- Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать, - завтра рано утром - вот и все! - со злобою, раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову.

- Самое это лучшее-с, - подхватил тот, точно и ждал того, - только разве то, что из Москвы вас могут по телеграфу отсюда обеспокоить-с, в каком-либо таком случае-с.

Иван Федорович опять остановился и опять быстро повернулся к Смердякову. Но и с тем точно что случилось. Вся фамильярность и небрежность его соскочили мгновенно; все лицо его выразило чрезвычайное внимание и ожидание, но уже робкое и подобострастное: "Не скажешь ли дескать еще чего, не прибавишь ли", так и читалось в его пристальном, так и впившемся в Ивана Федоровича взгляде.

- А из Чермашни разве не вызвали бы тоже... в каком-нибудь таком случае? - завопил вдруг Иван Федорович, не известно для чего вдруг ужасно возвысив голос.

- Тоже-с и из Чермашни-с... беспокоят-с... - пробормотал Смердяков почти шепотом, точно как бы потерявшись, но пристально, пристально продолжая смотреть Ивану Федоровичу прямо в глаза.

- Только Москва дальше, а Чермашня ближе, так ты о прогонных деньгах жалеешь, что ли, настаивая в Чермашню, аль меня жалеешь, что я крок большой сделаю?

- Совершенно верно-с... - пробормотал уже пресекившимся голосом Смердяков, гнусно улыбаясь и опять судорожно приготовившись во время отпрыгнуть назад. Но Иван Федорович вдруг, к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро прошел в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его лицо, тот наверно заключил бы, что засмеялся он вовсе не оттого, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно судорогой.

VII. "С УМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И ПОГОВОРИТЬ ЛЮБОПЫТНО."

Да и говорил тоже. Встретив Федора Павловича в зале, только что войдя, он вдруг закричал ему, махая руками: "Я к себе на верх, а не к вам, до свидания", и прошел мимо, даже стараясь не взглянуть на отца. Очень может быть, что старик слишком был ему в эту минуту ненавистен, но такое бесцеремонное проявление враждебного чувства даже и для Федора Павловича было неожиданным. А старик и впрямь видно хотел ему что-то поскорей сообщить, для чего нарочно и вышел встретить его в залу; услышав же такую любезность, остановился молча и с насмешливым видом проследил сынка глазами на лестницу в мезонин, до тех пор пока тот скрылся из виду.

- Чего это он? - быстро спросил он вошедшего вслед за Иваном Федоровичем Смердякова.

- Сердятся на что-то-с, кто их разберет, - пробормотал тот уклончиво.

- А и чорт! Пусть сердится! Подавай самовар и скорей сам убирайся, живо. Нет ли чего нового?

Тут начались расспросы именно из таких, на которые Смердяков сейчас жаловался Ивану Федоровичу, то-есть все насчет ожидаемой посетительницы, и мы эти расспросы здесь опустим. Чрез полчаса дом был заперт, и помешанный старикашка похаживал один по комнатам, в трепетном ожидании, что вот-вот раздадутся пять условных стуков, изредка заглядывая в темные окна и ничего в них не видя кроме ночи.

Было уже очень поздно, а Иван Федорович все не спал и соображал. Поздно он лег в эту ночь, часа в два. Но мы не станем передавать все течение его мыслей, да и не время нам входить в эту душу: этой душе своей черед. И даже если бы и попробовали что передать, то было бы очень мудро это сделать, потому что были не мысли, а было что-то очень неопределенное, а главное - слишком взволнованное. Сам он чувствовал, что потерял все свои концы. Мучили его тоже разные странные и почти неожиданные совсем желания, например: уж после полночи ему вдруг настоятельно и нестерпимо захотелось сойти вниз, отпереть дверь, пройти во флигель и избить Смердякова, но спросили бы вы, за что, и сам он решительно не сумел бы изложить ни одной причины в точности, кроме той разве, что стал ему этот лакей ненавистен как самый тяжкий обидчик, какого только можно приискать на свете. С другой стороны не раз охватывала в эту ночь его душу какая-то необъяснимая и унижительная робость, от которой он, - он это чувствовал, - даже как бы терял вдруг физические силы. Голова его болела и кружилась. Что-то ненавистное щемило его душу, точно он собирался мстить кому. Ненавидел он даже Алешу, вспоминая давешний с ним разговор, ненавидел очень минутами и себя. О Катерине Ивановне он почти что и думать забыл, и много этому потом удивлялся, тем более, что сам твердо помнил, как еще вчера утром, когда он так размашисто похвалился у Катерины Ивановны, что завтра уедет в Москву, в душе своей тогда же шепнул про себя: "а ведь вздор, не поедешь, и не так тебе будет легко оторваться, как ты теперь фанфаронишь". Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, слушал - подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для чего слушал - конечно, и сам не знал. Этот "поступок" он всю жизнь свою потом называл "мерзким" и всю жизнь свою считал, глубоко про себя, в тайниках души своей - самым подлым поступком изо всей своей жизни. К самому же Федору Павловичу он не чувствовал в те минуты никакой даже ненависти, а лишь любопытствовал почему-то изо всех сил: как он там внизу ходит, что он примерно там у себя теперь должен делать, предугадывал и соображал, как он должен был там внизу заглядывать в темные окна и вдруг останавливаться среди комнаты и ждать, ждать - не стучит ли кто. Выходил Иван Федорович для этого занятия на лестницу раза два. Когда все затихло и уже улегся и Федор Павлович, часов около двух, улегся и Иван Федорович с твердым желанием поскорее заснуть, так как чувствовал себя страшно измученным. И впрямь: заснул он вдруг крепко и спал без снов, но

проснулся рано, часов в семь, когда уже рассвело. Раскрыв глаза, к изумлению своему он вдруг почувствовал в себе прилив какой-то необычайной энергии, быстро вскочил и быстро оделся, затем вытащил свой чемодан и не медля поспешно начал его укладывать. Белье как раз еще вчера утром получилось все от прачки. Иван Федорович даже усмехнулся при мысли, что так все оно сошлось, что нет никакой задержки внезапному отъезду. А отъезд выходил действительно внезапный. Хотя Иван Федорович и говорил вчера (Катерине Ивановне, Алеше и потом Смердякову), что завтра уедет, но, ложась вчера спать, он очень хорошо помнил, что в ту минуту и не думал об отъезде, по крайней мере совсем не мыслил, что поутру проснувшись первым движением бросится укладывать чемодан. Наконец чемодан и сак были готовы: было уже около девяти часов, когда Марфа Игнатьевна взошла к нему с обычным ежедневным вопросом: "Где изволите чай кушать, у себя аль сойдете вниз?" Иван Федорович сошел вниз, вид имел почти что веселый, хотя было в нем, в словах и в жестах его, нечто как бы раскидывающееся и торопливое. Приветливо поздоровавшись с отцом, и даже особенно наведавшись о здоровьи, он, не дождавшись впрочем окончания ответа родителя, разом объявил, что чрез час уезжает в Москву, совсем, и просит послать за лошадьми. Старик выслушал сообщение без малейшего удивления, пренебрежительно позабыв поскорбеть об отъезде сына; вместо того вдруг чрезвычайно захлопотал, вспомнив как раз кстати одно насущное собственное дело.

- Ах ты! Экой! Не сказал вчера... ну да все равно и сейчас уладим. Сделай ты мне милость великую, отец ты мой родной, заезжай в Чермашню. Ведь тебе с Вольевой станции всего только влево свернуть, всего двенадцать каких-нибудь версточек, и вот она, Чермашня.

- Помилуйте, не могу: до железной дороги восемьдесят верст, а машина уходит со станции в Москву в семь часов вечера - ровно только, чтоб поспеть.

- Поспеешь завтра, не то послезавтра, а сегодня сверни в Чермашню. Чего тебе стоит родителя успокоить! Если бы здесь не дела, я сам давно слетал бы, потому что штука-то там спешная и чрезвычайная, а здесь у меня время теперь не такое... Видишь, там эта роща моя, в двух участках в Бегичеве, да в Дячкине, в пустошах, Масловы, старик с сыном, купцы, всего восемь тысяч дают на сруб, а всего только прошлого года покупатель нарывался, так двенадцать давал, да не здешний, вот где черта. Потому у здешних теперь сбыту нет: кулачат Масловы отец с сыном стотысячники: что положат, то и бери, а из здешних никто и не смеет против них тягаться. А Ильинский батюшка вдруг отписал сюда в прошлый четверг, что приехал Горсткин, тоже купчишка, знаю я его, только драгоценность-то в том, что не здешний, а из Погребова, значит не боится он Масловых, потому не здешний. Одиннадцать тысяч, говорит, за рощу дам, слышишь? А пробудет он здесь, пишет батюшка, еще-то всего лишь неделю. Так вот бы ты поехал, да с ним и сговорился...

- Так вы напишите батюшке, тот и сговорится.

- Не умеет он, тут штука. Этот батюшка смотреть не умеет. Золото человек, я ему сейчас двадцать тысяч вручу без расписки на сохранение, а смотреть ничего не умеет, как бы и не человек вовсе, ворона обманет. А ведь ученый человек, представь себе это. Этот Горсткин на вид мужик, в синей поддевке, только характером он совершенный подлец, в этом-то и беда наша общая: он лжет, вот черта. Иной раз так налжет, что только дивишься зачем это он. Налгал третьего года, что жена у него умерла и что он уже женат на другой, и ничего этого не было, представь себе: никогда жена его не умирала, живет и теперь и его бьет каждые три дня по разу. Так вот и теперь надо узнать: лжет аль вправду говорит, что хочет купить и одиннадцать тысяч дать?

- Так ведь и я тут ничего не сделаю, у меня тоже глазу нет.

- Стой, подожди, годишься и ты, потому я тебе все приметы его сообщу, Горсткина-то, я с ним дела уже давно имею. Видишь: ему на бороду надо глядеть; борода у него рыженькая, гаденькая, тоненькая. Коли борода трясется, а сам он говорит да сердится - значит ладно, правду говорит, хочет дело делать; а коли бороду гладит левою рукой, а сам посмеивается, - ну, значит, надуть хочет, плутует. В глаза ему никогда не гляди, по глазам ничего не разберешь, темна вода, плут, - гляди на бороду. Я тебе к нему записку дам, а ты покажи. Он Горсткин, только он не Горсткин, а Лягавый, так ты ему не говори, что он Лягавый, обидится. Коли сговоришься с ним и увидишь, что ладно, тотчас и отпиши сюда. Только это и напиши: "не лжет дескать". Стой на одиннадцати, одну тысячку можешь спустить, больше не

спускай. Подумай: восемь и одиннадцать – три тысячи разницы. Эти я три тысячи ровно как нашел, скоро ли покупщика достанешь, а деньги до зарезу нужны. Дашь знать, что серьезно, тогда я сам уж отсюда слетаю и кончу, как-нибудь урву время. А теперь чего я туда поскачу, если все это батька выдумал? Ну едешь или нет?

– Э, некогда, избевайте.

– Эх, одолжи отца, припомню! Без сердца вы все, вот что! Чего тебе день али два? Куда ты теперь, в Венецию? Не развалится твоя Венеция в два-то дня. Я Алешку послал бы, да ведь что Алешка в этих делах? Я ведь единственно потому, что ты умный человек, разве я не вижу. Лесом не торгуешь, а глаз имеешь. Тут только, чтобы видеть: в серьез или нет человек говорит. Говорю, гляди на бороду: трясется борода – значит в серьез.

– Сами ж вы меня в Чермашню эту проклятую толкаете, а? – вскричал Иван Федорович, злобно усмехнувшись.

Федор Павлович злобы не разглядел или не хотел разглядеть, а усмешку подхватил:

– Значит едешь, едешь? Сейчас тебе записку настрочу.

– Не знаю, поеду ли, не знаю, дорогой решу.

– Что дорогой, реши сейчас. Голубчик, реши! Сговоришься, напиши мне две строчки, вручи батюшке, и он мне мигом твою цидулку пришлет. А затем и не держу тебя, ступай в Венецию. Тебя обратно на Воловью станцию батюшка на своих доставит...

Старик был просто в восторге, записку настрочил, послали за лошадьми, подали закуску, коньяк. Когда старик бывал рад, то всегда начинал экспансивничать, но на этот раз он как бы сдерживался. Про Дмитрия Федоровича, например, не произнес ни единого словечка. Разлукой же совсем не был тронут. Даже как бы и не находил о чем говорить; и Иван Федорович это очень заметил: "Надоел же я ему однако", подумал он про себя. Только провожая сына уже с крыльца, старик немного как бы заметался, полез было лобызаться. Но Иван Федорович поскорее протянул ему для пожатия руку, видимо отстраняя лобзания. Старик тотчас понял и вмиг осадил себя.

– Ну, с богом, с богом! – повторял он с крыльца. – Ведь приедешь еще когда в жизни-то? Ну и приезжай, всегда буду рад. Ну, Христос с тобою!

Иван Федорович влез в тарантас.

– Прощай, Иван, очень-то не брани! – крикнул в последний раз отец.

Провожать вышли все домашние: Смердяков, Марфа и Григорий. Иван Федорович подарил всем по десяти рублей. Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковер.

– Видишь... в Чермашню еду... – как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера, так само собою слетело, да еще с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом.

– Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно, – твердо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Федоровича.

Тарантас тронулся и помчался. В душе путешественника было смутно, но он жадно глядел кругом на поля, на холмы, на деревья, на стаю гусей, пролетающую над ним высоко по ясному небу. И вдруг ему стало так хорошо. Он попробовал заговорить с извозчиком, и его ужасно что-то заинтересовало из того что ответил ему мужик, но чрез минуту сообразил, что все мимо ушей пролетело и что он, по правде, и не понял того, что мужик ответил. Он замолчал, хорошо было и так: воздух чистый, свежий, холодноватый, небо ясное. Мелькнули было в уме его образы Алеши и Катерины Ивановны; но он тихо усмехнулся и тихо дунул на милые призраки и они отлетели: "Будет еще их время", подумал он. Станцию отмахали быстро, переменили лошадей и помчались на Воловью. "Почему с умным человеком поговорить любопытно, что он этим хотел сказать?" вдруг так и захватило ему дух. "А я зачем доложил ему, что в Чермашню еду?" Доскакали до Воловьевой станции. Иван Федорович вышел из тарантаса, и ямщики его обступили. Рядились в Чермашню, двенадцать верст проселком, на вольных. Он велел впрягать. Вошел было в станционный дом, огляделся кругом, взглянул было на смотрительшу и вдруг вышел обратно на крыльцо.

– Не надо в Чермашню. Не опоздаю, братцы, к семи часам на железную дорогу?

– Как раз потрафим. Запрягать что ли?

- Впрягай мигом. Не будет ли кто завтра из вас в городе?
- Как не быть, вот Митрий будет.
- Не можешь ли, Митрий, услугу оказать? Зайди ты к отцу моему, Федору Павловичу Карамазову, и скажи ты ему, что я в Чермашню не поехал. Можешь али нет?

- Почему не зайти, зайдем; Федора Павловича очень давно знаем.
- А вот тебе и на чай, потому он тебе пожалуй не даст... - весело засмеялся Иван Федорович.

- А и впрямь не дадут, - засмеялся и Митрий. - Спасибо, сударь, непременно выполним...

В семь часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. "Прочь все прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, в новые места, и без оглядки!" Но вместо восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, а в сердце заняла такая скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. Он продумал всю ночь; вагон летел, и только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг как бы очнулся:

- Я подлец! - прошептал он про себя.

А Федор Павлович, проводив сына, остался очень доволен. Целые два часа чувствовал он себя почти счастливым и попил коньячок; но вдруг в доме произошло одно предосадное и пренеприятное для всех обстоятельство, мигом повергшее Федора Павловича в большое смятение: Смердяков пошел зачем-то в погреб и упал вниз с верхней ступеньки. Хорошо еще, что на дворе случилась в то время Марфа Игнатьевна и вовремя услышала. Падения она не видела, но зато услышала крик, крик особенный, странный, но ей уже давно известный, - крик эпилептика, падающего в припадке. Приключился ли с ним припадок в ту минуту, когда он сходил по ступенькам вниз, так что он конечно тотчас же и должен был слететь вниз в бесчувствии, или, напротив, уже от падения и от сотрясения произошел у Смердякова, известного эпилептика, его припадок, - разобрать нельзя было, но нашли его уже на дне погреба, в корчах и судорогах, бьющимся и с пеной у рта. Думали сначала, что он наверно сломал себе что-нибудь, руку или ногу, и расшибся, но однако "сберег господь", как выразилась Марфа Игнатьевна: ничего такого не случилось, а только трудно было достать его и вынести из погреба на свет божий. Но попросили у соседней помощи и кое-как это совершили. Находился при всей этой церемонии и сам Федор Павлович, сам помогал, видимо перепуганный и как бы потерявшийся. Больной однако в чувство не входил: припадки хоть и прекращались на время, но зато возобновлялись опять, и все заключили, что произойдет то же самое, что и в прошлом году, когда он тоже упал нечаянно с чердака. Вспомнили, что тогда прикладывали ему к темени льду. Ледок в погребе еще нашелся, и Марфа Игнатьевна распорядилась, а Федор Павлович под вечер послал за доктором Герценштубе, который и прибыл немедленно. Осмотрев больного тщательно (это был самый тщательный и внимательный доктор во всей губернии, пожилой и почтеннейший старичок), он заключил, что припадок чрезвычайный и "может грозить опасностью", что покамест он, Герценштубе, еще не понимает всего, но что завтра утром, если не помогут теперешние средства, он решится принять другие. Больного уложили во флигеле, в комнатке рядом с помещением Григория и Марфы Игнатьевны. Затем Федор Павлович уже весь день претерпевал лишь несчастье за несчастьем: обед стотовила Марфа Игнатьевна, и суп сравнительно с приготовлением Смердякова вышел "словно помой", а курица оказалась до того пересушеною, что и прожевать ее не было никакой возможности. Марфа Игнатьевна на горькие, хотя и справедливые упреки барина возражала, что курица и без того была уже очень старая, а что сама она в поварях не училась. К вечеру вышла другая забота: доложили Федору Павловичу, что Григорий, который с третьего дня расхворался, как раз совсем почти слег, отнялась поясница. Федор Павлович окончил свой чай как можно пораньше и заперся один в доме. Был он в страшном и тревожном ожидании. Дело в том, что как раз в этот вечер ждал он прибытия Грушеньки уже почти наверно; по крайней мере получил он от Смердякова, еще рано поутру, почти заверение, что "оне уж несомненно обещали прибыть-с". Сердце неугомонного старичка билось тревожно, он ходил по пустым своим комнатам и прислушивался. Надо было держать ухо остро: мог где-нибудь сторожить ее Дмитрий Федорович, а как она постучится в окно (Смердяков еще третьего дня уверил Федора Павловича, что передал ей где и куда постучаться), то надо было отпереть двери как можно

скорее и отнюдь не задерживать ее ни секунды напрасно в снях, чтобы чего, боже сохрани, не испугалась и не убежала.хлопотливо было Федору Павловичу, но никогда еще сердце его не купалось в более сладкой надежде: почти ведь наверно можно было сказать, что в этот раз она уже непременно придет!..

КНИГА ШЕСТАЯ

Русский инок

I. СТАРЕЦ ЗОСИМА И ГОСТИ ЕГО.

Когда Алеша с тревогой и с болью в сердце вошел в келью старца, то остановился почти в изумлении: вместо отходящего больного, может быть уже без памяти, каким боялся найти его, он вдруг его увидал сидящим в кресле, хотя с изможенным от слабости, но с бодрым и веселым лицом, окруженного гостями и ведущего с ними тихую и светлую беседу. Впрочем, встал он с постели не более как за четверть часа до прихода Алеши; гости уже собрались в его келью раньше и ждали, пока он проснется, по твердому заверению отца Паисия, что "учитель встанет несомненно, чтоб еще раз побеседовать с милыми сердцу его, как сам изрек и как сам пообещал еще утром". Обещанию же этому, да и всякому слову отходящего старца, отец Паисий веровал твердо, до того, что если бы видел его и совсем уже без сознания и даже без дыхания, но имел бы его обещание, что еще раз восстанет и простится с ним, то не поверил бы может быть и самой смерти, все ожидая, что умирающий очнется и исполнит обетованное. Поутру же старец Зосима положительно изрек ему, отходя ко сну: "Не умру прежде, чем еще раз не уплюсь беседой с вами, возлюбленные сердца моего, на милые лики ваши погляжу, душу мою вам еще раз изолю". Собравшиеся на эту последнюю вероятно беседу старца, были самые преданные ему друзья с давних лет. Их было четверо: иеромонахи отец Иосиф и отец Паисий, иеромонах отец Михаил, настоятель скита, человек не весьма еще старый, далеко не столь ученый, из звания простого, но духом твердый, нерушимо и просто верующий, с виду суровый, но проникновенный глубоким умилением в сердце своем, хотя видимо скрывал свое умиление до какого-то даже стыда. Четвертый гость был совсем уже старенький, простенький монашек, из беднейшего крестьянского звания, брат Анфим, чуть ли даже не малограмотный, молчаливый и тихий, редко даже с кем говоривший, между самыми смиренными смиреннейший и имевший вид человека, как бы навеки испуганного чем-то великим и страшным, не в подъем уму его. Этого как бы трепещущего человека старец Зосима весьма любил и во всю жизнь свою относился к нему с необыкновенным уважением, хотя может быть ни с кем во всю жизнь свою не сказал менее слов, как с ним, несмотря на то, что когда-то многие годы провел в странствованиях с ним вдвоем по всей святой Руси. Было это уже очень давно, лет пред тем уже сорок, когда старец Зосима впервые начал иноческий подвиг свой в одном бедном, мало известном Костромском монастыре, и когда вскоре после того пошел сопутствовать отцу Анфиму в странствиях его для сбора пожертвований на их бедный Костромской монастырек. Все, и хозяин и гости расположились во второй комнате старца, в которой стояла постель его, комнате, как и было указано прежде, весьма тесной, так что все четверо (кроме Порфирия-послушника пребывавшего стоя) едва разместились вокруг кресел старца на принесенных из первой комнаты стульях. Начало уже смеркаться, комната освещалась от лампад и восковых свеч пред иконами. Увидав Алешу, смутившегося при входе и ставшего в дверях, старец радостно улыбнулся ему и протянул руку:

- Здравствуй, тихий, здравствуй, милый, вот и ты. И знал, что прибудешь.

Алеша подошел к нему, склонился пред ним до земли и заплакал. Что-то рвалось из его сердца, душа его трепетала, ему хотелось рыдать.

- Что ты, подожди оплакивать, - улыбнулся старец, положив правую руку свою на его голову, - видишь, сию и беседую, может и двадцать лет еще проживу, как пожелала мне вчера та добрая, милая, из Вышегорья, с девочкой Лизаветой на руках. Помяни, господи, и мать, и девочку Лизавету! (он перекрестился.) Порфирий, дар-то ее снес куда я сказал?

Это он припомнил о вчерашних шести гривнах, пожертвованных веселою поклонницей, чтоб отдать "той, которая меня бедней". Такие жертвы происходят как епитимии, добровольно на себя почему-либо наложенные, и непременно из денег, собственным трудом добытых. Старец послал Порфирия еще с вечера к одной, недавно еще погоревшей нашей мещанке, вдове с детьми, пошедшей после пожара нищенствовать. Порфирий поспешил донести, что дело уже сделано и что подал, как приказано ему было, "от неизвестной благотворительницы".

- Встань, милый, - продолжал старец Алеше, - дай посмотри на тебя. Был ли у своих и видел ли брата?

Алеше странно показалось, что он спрашивает так твердо и точно об одном только из братьев, - но о котором же: значит, для этого-то брата может быть и отсылал его от себя и вчера и сегодня.

- Одного из братьев видел, - ответил Алеша.

- Я про того, вчерашнего, старшего, которому я до земли поклонился.

- Того я вчера лишь видел, а сегодня никак не мог найти, - сказал Алеша.

- Поспешి найти, завтра опять ступай и поспеши, все оставь и поспеши. Может еще успеешь что-либо ужасное предупредить. Я вчера великому будущему страданию его поклонился.

Он вдруг умолк и как бы задумался. Слова были странные. Отец Иосиф, свидетель вчерашнего земного поклона старца, переглянулся с отцом Паисием. Алеша не вытерпел:

- Отец и учитель, - проговорил он в чрезвычайном волнении, - слишком неясны слова ваши... Какое это страдание ожидает его?

- Не любопытствуй. Показалось мне вчера нечто страшное... словно всю судьбу его выразил вчера его взгляд. Был такой у него один взгляд... так что ужаснулся я в сердце моем мгновенно тому, что уготовляет этот человек для себя. Раз или два в жизни видел я у некоторых такое же выражение лица... как бы изображавшее всю судьбу тех людей, и судьба их, увы, сбилась. Послал я тебя к нему, Алексей, ибо думал, что братский лик твой поможет ему. Но все от господи и все судьбы наши. "Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода". Запомни сие. А тебя, Алексей, много раз благословлял я мысленно в жизни моей за лик твой, узнай сие, - проговорил старец с тихой улыбкой. - Мыслью о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок. Много будешь иметь противников, но и самые враги, твои будут любить тебя. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь и жизнь благословишь, и других благословить заставишь, - что важнее всего. Ну вот ты каков. Отцы и учителя мои, - умиленно улыбаясь, обратился он к гостям своим, - никогда до сего дня не говорил я, даже и ему, за что был столь милым душе моей лик сего юноши. Теперь лишь скажу: был мне лик его как бы напоминанием и пророчеством. На заре дней моих, еще малым ребенком, имел я старшего брата, умершего юношей, на глазах моих, всего только семнадцати лет. И потом, проходя жизнь мою, убедился я постепенно, что был этот брат мой в судьбе моей как бы указанием и предназначением свыше, ибо не явись он в жизни моей, не будь его вовсе, и никогда-то, может быть, я так мыслю, не принял бы я иноческого сана и не вступил на драгоценный путь сей. То первое явление было еще в детстве моем, и вот уже на склоне пути моего явилось мне воочию как бы повторение его. Чудно это, отцы и учителя, что, не быв столь похож на него лицом, а лишь несколько Алексей казался мне до того схожим с тем духовно, что много раз считал я его как бы прямо за того юношу, брата моего, пришедшего ко мне на конце пути моего таинственно, для некоего воспоминания и проникновения, так что даже удивлялся себе самому и таковой странной мечте моей. Слышишь ли сие, Порфирий, - обратился он к прислуживавшему ему послушнику. - Много раз видел я на лице твоём как бы огорчение, что я

Алексея больше люблю, чем тебя. Теперь знаешь, почему так было, но и тебя люблю, знай это, и много раз горевал, что ты огорчаешься. Вам же, милые гости, хочу я поведать о сем юноше брате моем, ибо не было в жизни моей явления драгоценнее сего, более пророческого и трогательного. Умилилось сердце мое и созерцаю всю жизнь мою в сию минуту, како бы вновь ее всю изживая...

Здесь я должен заметить, что эта последняя беседа старца с посетившими его в последний день жизни его гостями сохранилась отчасти записанною. Записал Алексей Федорович Карамазов некоторое время спустя по смерти старца на память. Но была ли это вполне тогдашняя беседа или он присовокупил к ней в записке своей и из прежних бесед с учителем своим, этого уже я не могу решить, к тому же вся речь старца в записке этой ведется как бы непрерывно, словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести, обращаясь к друзьям своим, тогда как без сомнения, по последовавшим рассказам, на деле происходило несколько иначе, ибо велась беседа в тот вечер общая, и хотя гости хозяина своего мало перебивали, но все же говорили и от себя, вмешиваясь в разговор, может быть даже и от себя поведали и рассказали что-либо, к тому же и непрерывности такой в повествовании сем быть не могло, ибо старец иногда задыхался, терял голос и даже ложился отдохнуть на постель свою, хотя и не засыпал, а гости не покидали мест своих. Раз или два беседа прерывалась чтением Евангелия, читал отец Паисий. Замечательно тоже, что никто из них однако же не полагал, что умрет он в самую эту же ночь, тем более, что в этот последний вечер жизни своей он, после глубокого дневного сна, вдруг как бы обрел в себе новую силу, поддерживавшую его во всю длинную эту беседу с друзьями. Это было как бы последним умилением, поддерживавшим в нем невероятное оживление, но на малый лишь срок, ибо жизнь его пресеклась вдруг... Но об этом после. Теперь же хочу уведомить, что предпочел, не излагая всех подробностей беседы, ограничиться лишь рассказом старца по рукописи Алексея Федоровича Карамазова. Будет оно короче, да и не столь утомительно, хотя, конечно, повторяю это, многое Алеша взял и из прежних бесед и совокупил вместе.

II. ИЗ ЖИТИЯ В БОЗЕ ПРЕСТАВИВШЕГОСЯ ИЕРОСХИМОНАХА СТАРЦА ЗОСИМЫ,

СОСТАВЛЕНО С СОБСТВЕННЫХ СЛОВ ЕГО АЛЕКСЕЕМ ФЕДОРОВИЧЕМ КАРАМАЗОВЫМ.

Сведения биографические.

а) О юноше брате старца Зосимы.

Возлюбленные отцы и учителя, родился я в далекой губернии северной, в городе В., от родителя дворянина, но не знатного и не весьма чиновного. Скончался он, когда было мне всего лишь два года отроду, и не помню я его вовсе. Оставил он матушке моей деревянный дом небольшой и некоторый капитал, не великий, но достаточный, чтобы прожить с детьми не нуждаясь. А было нас всего у матушки двое: я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел. Был он старше меня годов на восемь, характера вспыльчивого и раздражительного, но добрый, не насмешливый, и странно как молчаливый, особенно в своем доме, со мной, с матерью и с прислугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходил, хотя и не ссорился, так по крайней мере запомнила о нем матушка. За полгода до кончины своей, когда уже минуло ему семнадцать лет, повадился он ходить к одному уединенному в нашем городе человеку, как бы политическому ссыльному, высланному из Москвы в наш город за вольнодумство. Был же этот ссыльный не малый ученый и знатный философ в университете. Почему-то он полюбил Маркела и стал принимать его. Просиживал у него юноша целые вечера, и так во всю зиму, доколе не потребовали обратно ссыльного на государственную службу в Петербург, по собственной просьбе его, ибо имел покровителей. Начался великий пост, а Маркел не хочет поститься, бранится и над этим смеется: "все это бредни, говорит, и нет никакого и бога", так что в ужас привел и мать и прислугу, да и меня малого, ибо хотя был я и девяти лет всего, но, услышав слова сии, испугался очень и я. Прислуга же была у

нас вся крепостная, четверо человек, все купленные на имя знакомого нам помещика. Еще помню, как из сих четверых продала матушка одну, кухарку Афимью, хромую и пожилую, за шестьдесят рублей ассигнациями, а на место ее наняла вольную. И вот на шестой неделе поста стало вдруг брату хуже, а был он и всегда нездоровый, грудной, сложения слабого и наклонный к чахотке; роста же не малого, но тонкий и хилый, лицом же весьма благообразен. Простудился он что ли, но доктор прибыл и вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная, и что весны не переживет. Стала мать плакать, стала просить брата с осторожностью (более для того, чтобы не испугать его), чтобы поговел и причастился святых божиих таин, ибо был он тогда еще на ногах. Услышав рассердился и выбрал храм божий, однако задумался: догадался сразу, что болен опасно и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. Впрочем и сам уже знал, что давно нездоров, и еще за год пред тем проговорил раз за столом мне и матери хладнокровно: "не жилец я на свете меж вами, может и года не проживу", и вот словно и напроорочил. Прошло дня три, и настала страстная неделя. И вот брат со вторника утра пошел говеть. "Я это, матушка, собственно для вас делаю, чтоб обрадовать вас и успокоить", - сказал он ей. - Заплакала мать от радости, да и с горя: "знать близка кончина его. коли такая в нем вдруг перемена". Но не долго походил он в церковь, слег, так что исповедывали и причастили его уже дома. Дни наступили светлые, ясные, благоуханные, Пасха была поздняя. Всю-то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а на утро всегда оденется и попробует сесть в мягкие кресла. Так и запомню его: сидит тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик веселый, радостный. Изменился он весь душевно - такая дивная началась в нем вдруг перемена! Войдет к нему в комнату старая нянька: "позволь, голубчик, я и у тебя лампадку зажгу пред образом". А он прежде не допускал, задувал даже. "Зажигай, милая, зажигай, изверг я был, что претил вам прежде. Ты богу лампадку зажигая молишься, а я на тебя радуясь молюсь. Значит одному богу и молимся". Станными казались нам эти слова, а мать уйдет к себе и все плачет, только к нему входя обтирала глаза и принимала веселый вид. "Матушка, не плачь, голубушка, говорит, бывало, много еще жить мне, много веселиться с вами, а жизнь-то, жизнь-то веселая, радостная!" - "Ах милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару да кашляешь, так что грудь тебе чуть не разорвет". - "Мама, - отвечает ей, - не плачь, жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать завтра же и стал бы на всем свете рай". И дивились все словам его, так он это странно и так решительно говорил; умилялись и плакали. Приходили к нам знакомые: "милые говорит, дорогие, и чем я заслужил, что вы меня любите, за что вы меня такого любите, и как я того прежде не знал, не ценил". Входящим слугам говорил поминутно: "Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал бог и оставил в живых, стал бы сам служить вам, ибо все должны одному другому служить". Матушка слушающая качала головой: "дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь". - "Мама, радость моя, говорит, нельзя чтобы не было господ и слуг, но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они мне. Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех". Матушка так даже тут усмехнулась, плачет и усмехается: "Ну и чем это ты, говорит, пред всеми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех обвиняешь?" - "Матушка, кровинушка ты моя, говорит (стал он такие любезные слова тогда говорить, неожиданные), кровинушка ты моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе это, но чувствую, что это так до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали тогда? Так он вставал со сна, каждый день все больше и больше умиляясь и радуясь, и весь трепеща любовью. Приедет бывало доктор, - старик немец Эйзеншмидт ездил: "Ну что, доктор, проживу я еще денек-то на свете? - шутит бывало с ним. - "Не то, что день, и много дней проживете, - ответит бывало доктор, - и месяцы, и годы еще проживете", - "Да чего годы, чего месяцы! - воскликнет, бывало, - что тут дни-то считать, и одного дня довольно человеку, чтобы все счастье узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хвалимся, один на другом обиды помним: прямо в сад пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять". - "Не жилец он на свете, ваш сын", промолвил доктор матушке, когда провожала она его до крыльца, "он от болезни впадает в

помешательство". Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями старыми, на деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему в окна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить у них прощения: "Птички божие, птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил". Этого уж никто тогда не мог понять, а он от радости плачет: "да, говорит, была такая божия слава кругом меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один все обесчестил, а красы и славы не приметил вовсе". – "Уж много ты на себя грехов берешь", плачет бывало матушка. – "Матушка, радость моя, я ведь от веселья, а не от горя это плачу; мне ведь самому хочется пред ними виноватым быть, растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я грешен пред всеми, да за то и меня все простят, вот и рай. Разве я теперь не в раю?"

И много еще было, чего и не припомнить, и не вписать. Помню, однажды, вошел я к нему один, когда никого у него не было. Час был вечерний, ясный, солнце закатывалось и всю комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав, подошел я к нему, взял он меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умиленно, любовно; ничего не сказал, только поглядел так с минуту: "Ну, говорит, ступай теперь, играй, живи за меня!" Вышел я тогда и пошел играть. А в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, как он велел мне жить за себя. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных, хотя и непонятных нам тогда слов. Скончался же на третьей недели после Пасхи, в памяти, и хотя и говорить уже перестал, но не изменился до самого последнего своего часа: смотрит радостно, в очах веселье, взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовет. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня все это тогда, но не слишком, хоть и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был, ребенок, но на сердце осталось все неизгладимо, затаилось чувство. В свое время должно было все восстать и откликнуться. Так оно и случилось.

б) О священном писании в жизни отца Зосимы.

Остались мы тогда одни с матушкой. Посоветовали ей скоро добрые знакомые, что вот дескать остался всего один у вас сынок, и не бедные вы, капитал имеете, так по примеру прочих почему бы сына вашего не отправить вам в Петербург, а оставшись здесь, знатной может быть участи его лишите. И надумили матушку меня в Петербург в кадетский корпус свезти, чтобы в императорскую гвардию потом поступить. Матушка долго колебалась: как это с последним сыном расстаться, но однако решилась, хотя и не без многих слез, думая счастие моему способствовать. Свезла она меня в Петербург, да и определила, а с тех пор я ее и не видал вовсе; ибо через три года сама скончалась, все три года по нас обоих грустила и трепетала. Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга, священная история, с прекрасными картинками, под названием: "Сто четыре священные истории ветхого и нового завета", и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю. Но и до того еще как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное, еще восьми лет отроду. Повела матушка меня одного (не помню, где был тогда брат) во храм господень, в страстную неделю в понедельник к обедни. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно и в первый раз отроду принял я тогда в душу первое семя слова божия осмысленно. Вышел на средину храма отрок с большою книгой, такую большую, что, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что во храме божием читают. Был муж в земле Уц, правдивый и благочестивый, и было у него столько-то богатства, столько-то верблюдов, столько овец и ослов, и дети его веселились, и любил он их очень и молил за них бога: может согрешили они веселясь. И вот восходит к богу диавол вместе с сынами божьими и говорит господу, что прошел по всей земле и под землю.

"А видел ли раба моего Иова?" спрашивает его бог. И похвалился бог диаволу, указав на великого святого раба своего. И усмехнулся диавол на слова божи: "предай его мне и увидишь, что возропчет раб твой и проклянет твое имя". И предал бог своего праведника, столь им любимого, диаволу, и поразил диавол детей его, и скот его, и разметал богатство его, все вдруг, как божиим громом, и разодрал Иов одежды свои и бросился на землю, бог дал, бог и взял. Буди имя господне благословенно отныне и до века!" Отцы и учителя, пощадите теперешние слезы мои, - ибо все младенчество мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда детскою восьмилетнею грудкой моею, и чувствую, как тогда, удивление и смятение, и радость. И верблюды-то так тогда мое воображение заняли, и сатана, который так с богом говорит, и бог, отдавший раба своего на погибель, и раб его, восклицающий: "буди имя твое благословенно, несмотря на то, что казнишь меня", - а затем тихое и сладостное пение во храме: "Да исправится молитва моя", и снова фимиам от кадила священника и коленопреклоненная молитва! С тех пор, - даже вчера еще взял ее, - и не могу читать эту пресвятую повесть без слез. А и сколько тут великого, тайного, невообразимого! Слышал я потом слова насмешников и хулителей, слова гордые: как это мог господь отдать любимого из святых своих на потеху диаволу, отнять от него детей, поразить его самого болезнью и язвами так, что черепком счищал с себя гной своих ран, и для чего: чтобы только похвалиться пред сатаной: "Вот что дескать, может вытерпеть святой мой ради меня!" Но в том и великое, что тут тайна, - что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Пред правдой земною совершается действие вечной правды. Тут творец, как и в первые дни творения, завершая каждый день похвалою: "хорошо то, что я сотворил", смотрит на Иова и вновь хвалится созданием своим. А Иов, хваля господа, служит не только ему, но послужит и всему созданию его в роды и в роды и во веки веков, ибо к тому и предназначен был. Господи, что это за книга и какие уроки! Что за книга это священное писание, какое чудо и какая сила данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных: восстанавливает бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходят опять многие годы, и вот у него уже новые дети, другие, и любит он их, - господи: "Да как мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех, разве можно быть счастливым в полноте как прежде с новыми, как бы новые ни были ему милы?" Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умиленную радость; вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость: благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое попрежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни, - а надо всем-то правда божи, умиляющая, примиряющая, всепрощающая! Кончается жизнь моя, знаю и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от предчувствия которой трепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце... Други и учителя, слышал я не раз, а теперь в последнее время еще слышнее стало о том, как у нас иереи божи, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое, и прямо заверяют, даже печатно, - читал сие сам, - что не могут они уже теперь будто бы толковать народу писание, ибо мало у них содержания, и если приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало-де у нас содержания. Господи! думаю, дай бог им более сего столь драгоценного для них содержания (ибо справедлива и их жалоба), но воистину говорю: если кто виноват сему, то на половину мы сами! Ибо пусть нет времени, пусть он справедливо говорит, что угнетен все время работой и требами, но не все же ведь время, ведь есть же и у него хоть час один во всю-то неделю, чтоб и о боге вспомнить. Да и не круглый же год работа. Собери он у себя раз в неделю, в вечерний час, сначала лишь только хоть деток, - прослышат отцы и отцы приходите начнут. Да и не хоромы же строить для сего дела, а просто к себе в избу прими; не страшись, не изгадят они твою избу, ведь всего-то на час один собираешь. Разверни-ка он им эту книгу и начни читать без премудрых слов и без чванства, без возношения над ними, а

умиленно и кротко, сам радуясь тому, что читаешь им и что они тебя слушают и понимают тебя, сам любя словеса сии, изредка лишь остановись и растолкуй иное непонятное простолюдину слово, не беспокойся, поймут все, все поймет православное сердце! Прочти им об Аврааме и Сарре, об Исааке и Ревекке, о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне с господом и сказал: "Страшно место сие", и поразишь благочестивый ум простолюдина. Прочти им, а деткам особенно, о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока милого, Иосифа, сновидца и пророка великого, а отцу сказали, что зверь растерзал его сына, показав окровавленную одежду его. Прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет, и Иосиф, уже царедворец великий, ими неузнанный, мучил их, обвинил, задержал брата Вениамина, и все любя, любя: "Люблю вас и любя мучаю". Ибо ведь всю жизнь свою вспоминал неустанно, как продали его где-нибудь там в горячей степи, у колодца, купцам, и как он, ломая руки, плакал и молил братьев не продавать его рабом в чужую землю, и вот, увидя их после стольких лет, возлюбил их вновь безмерно, но томил их и мучил их, все любя. Уходит наконец от них, не выдержав сам муки сердца своего, бросается на одр свой и плачет; утирает потом лицо свое и выходит сияющ и светел и возвещает им: "Братья, я Иосиф, брат ваш!" Пусть прочтет он далее о том, как обрадовался старец Иаков, узнав, что жив еще его милый мальчик, и потянулся в Египет, бросив даже отчизну, и умер в чужой земле, изрекши на веки веков в завещании своем величайшее слово, вмещавшееся таинственно в кротком и боязливом сердце его во всю его жизнь, о том, что от рода его, от Иуды, выйдет великое чаяние мира, примиритель и спаситель его! Отцы и учителя, простите и не сердитесь, что как малый младенец толкую о том, что давно уже знаете и о чем меня же научите, стократ искуснее и благолепнее. От восторга лишь говорю сие, и простите слезы мои, ибо люблю книгу сию! Пусть заплачет и он, иерей божий, и увидит, что сотрясутся в ответ ему сердца его слушающих. Нужно лишь малое семя, крохотное: брось он его в душу простолюдина, и не умрет оно, будет жить в душе его во всю жизнь, таиться в нем среди мрака, среди смрада грехов его, как светлая точка, как великое напоминание. И не надо, не надо много толковать и учить, все поймет он просто. Думаете ли вы, что не поймет простолюдин? Попробуйте прочтите ему далее повесть, трогательную и умиленную, о прекрасной Эсфири и надменной Вастии; или чудное сказание о пророке Ионе во чреве китове. Не забудьте тоже притчи господни, преимущественно по Евангелию от Луки (так я делал), а потом из Деяний Апостольских обращение Савла (это непременно, непременно!), а наконец, и из Четьи-Миней хотя бы житие Алексея человека божия и великой из великих радостной страдальицы, боговидицы и христоносицы матери Марии Египтяныни - и пронзишь ему сердце его сими простыми сказаниями, и всего-то лишь час в неделю, не взирая на малое свое содержание, один часок. И увидит сам, что милостив народ наш и благодарен, отблагодарит во сто крат; помня радения иерея и умиленные слова его, поможет ему на ниве его добровольно, поможет и в дому его, да и уважением воздаст ему большим прежнего, - вот уже и увеличится содержание его. Дело столь простодушное, что иной раз боимся даже и высказать, ибо над тобою же засмеются, а между тем сколь оно верное! Кто не верит в бога, тот и в народ божий не поверит. Кто же уверовал в народ божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе. Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших. И что за слово Христово без примера? Гибель народу без слова божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия. В юности моей, давно уже, чуть не сорок лет тому, ходили мы с отцом Анфимом по всей Руси, собирая на монастырь подаяние, и заночевали раз на большой реке судоходной, на берегу, с рыбаками, а вместе с нами присел один благообразный юноша, крестьянин, лет уже восемнадцати на вид, поспешал он к своему месту назавтра купеческую барку бечевою тянуть. И вижу я, смотрит он пред собой умиленно и ясно. Ночь светлая, тихая, теплая, июльская, река широкая, пар от нее поднимается, свежит нас, слегка всплеснет рыбка, птички замолкли, все тихо благолепно, все богу молится. И не спим мы только оба, я да юноша этот, и разговорились мы о красе мира сего божьего и о великой тайне его. Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну божию свидетельствуют, непрерывно совершают ее сами, и, вижу я, разгорелось сердце милого юноши. Поведал он мне, что лес любит, птичек лесных; был он птицелов, каждый их свист понимал, каждую птичку приманить умел; лучше того как в лесу ничего я,

говорит, не знаю, да и все хорошо. "Истинно, отвечаю ему, все хорошо и великолепно, потому что все истина. Посмотри, говорю ему, на коня животное великое, близ человека стоящее, али на вола, его питающего и работающего ему, понурого и задумчивого, посмотри на лики их: какая кротость, какая привязанность к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая незлобивость, какая доверчивость и какая красота в его лике. Трогательно даже это и знать, что на нем нет никакого греха, ибо все совершенно, все кроме человека безгрешно, и с ними Христос еще раньше нашего". - "Да неужто, спрашивает юноша, и у них Христос?" - "Как же может быть иначе, говорю ему, ибо для всех слово, все создание и вся тварь, каждый листик устремляется к слову, богу славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего безгрешного совершает сие. Вон, говорю ему, в лесу скитается страшный медведь, грозный и свирепый, и ничем-то в том неповинный". И рассказал я ему, как приходил раз медведь к великому святому, спасавшемуся в лесу, в малой келийке, и умилился над ним великий святой, бесстрашно вышел к нему и подал ему хлеба кусок: "Ступай, дескать, Христос с тобой", и отошел свирепый зверь послушно и кротко, вреда не сделав. И умилился юноша на то, что отошел, вреда не сделав, и что и с ним Христос. "Ах, как, говорит, это хорошо, как все божие хорошо и чудесно!" Сидит, задумался, тихо и сладко. Вижу, что понял. И заснул он подле меня сном легким, безгрешным. Благослови господь юность! И помолился я тут за него сам, отходя ко сну. Господи, пошли мир и свет твоим людям!

в) Воспоминание о юности и молодости старца Зосимы еще в миру. Поединок.

В Петербурге, в кадетском корпусе, пробыл я долго, почти восемь лет, и с новым воспитанием многое заглушил из впечатлений детских, хотя и не забыл ничего. Взамен того принял столько новых привычек и даже мнений, что преобразился в существо почти дикое, жестокое и нелепое. Лоск учтивости и светского обращения вместе с французским языком приобрел, а служивших нам в корпусе солдат считали мы все как за совершенных скотов и я тоже. Я-то может быть больше всех, ибо изо всех товарищей был на все восприимчивее. Когда вышли мы офицерами, то готовы были проливать свою кровь за оскорбленную полковую честь нашу, о настоящей же чести почти никто из нас и не знал, что она такое есть, а узнал бы, так осмел бы ее тотчас же сам первый. Пьянством, дебоширством и ухарством чуть не гордились. Не скажу, чтобы были скверные; все эти молодые люди были хорошие, да вели-то себя скверно, а пуще всех я. Главное то, что у меня объявился свой капитал, а потому и пустился я жить в свое удовольствие, со всем юным стремлением, без удержу, поплыл на всех парусах. Ну вот что дивно: читал я тогда и книги и даже с большим удовольствием; библию же одну никогда почти в то время не разворачивал, но никогда и не расставался с нею, а возил ее повсюду с собой: воистину берег эту книгу, сам того не ведая, "на день и час, на месяц и год". Прослужив этак года четыре, очутился я наконец в городе К., где стоял тогда наш полк. Общество городское было разнообразное, многолюдное и веселое, гостеприимное и богатое, принимали же меня везде хорошо, ибо был я от роду нрава веселого, да к тому же и слыл не за бедного, что в свете значит не мало. Вот и случилось одно обстоятельство, послужившее началом всему. Привязался я к одной молодой и прекрасной девице, умной и достойной, характера светлого, благородного, дочери почтенных родителей. Люди были не малые, имели богатство, влияние и силу, меня принимали ласково и радушно. И вот покажись мне, что девица расположена ко мне сердечно, - разгорелось мое сердце при таковой мечте. Потом уж сам постиг и вполне догадался, что может быть вовсе я ее и не любил с такою силой, а только чтил ее ум и характер возвышенный, чего не могло не быть. Себялюбие однако же помешало мне сделать предложение руки в то время: тяжело и страшно показалось расстаться с соблазнами развратной, холостой и вольной жизни в таких юных летах, имея вдобавок и деньги. Намеки однако ж я сделал. Во всяком случае отложил на малое время всякий решительный шаг. А тут вдруг случись командировка в другой уезд на два месяца. Возвращаясь я через два месяца и вдруг узнаю, что девица уже замужем, за богатым пригородным помещиком, человеком хоть и старее меня годами, но еще молодым, имевшим связи в столице и в лучшем обществе, чего я не имел, человеком весьма любезным и сверх того образованным, а уж образования-то я не имел вовсе. Так я был поражен этим неожиданным случаем, что даже ум во мне помутился. Главное же в том заключалось, что, как узнал я

тогда же, был этот молодой помещик женихом ее уже давно, и что сам же я встречал его множество раз в ихнем доме, но не примечал ничего, ослепленный своими достоинствами. Но вот это-то по преимуществу меня и обидело: как же это, все почти знали, а я один ничего не знал? И почувствовал я вдруг злобу нестерпимую. С краской в лице начал вспоминать, как много раз почти высказывал ей любовь мою, а так как она меня не останавливала и не предупредила, то, стало быть, вывел я, надо мною смеялась. Потом конечно сообразил и припомнил, что нисколько она не смеялась, сама же напротив разговоры такие шутливо прерывала, и зачинала на место их другие, - но тогда сообразить этого я не смог и запыхал отомщением. Вспоминаю с удивлением, что отомщение сие и гнев мой были мне самому до крайности тяжелы и противны, потому что, имея характер легкий, не мог подолгу ни на кого сердиться, а потому как бы сам искусственно разжигал себя, и стал наконец безобразен и нелеп. Выждал я время и раз в большом обществе удалось мне вдруг "соперника" моего оскорбить будто бы из-за самой посторонней причины, подсмеяться над одним мнением его об одном важном тогда событии, - в двадцать шестом году дело было, - и подсмеяться, говорили люди, удалось остроумно и ловко. Затем вынудил у него объяснение и уже до того обошелся при объяснении грубо, что вызов мой он принял, несмотря на огромную разницу между нами, ибо был я и моложе его, незначителен и чина малого. Потом уж я твердо узнал, что принял он вызов мой как бы тоже из ревнивого ко мне чувства: ревновал он меня и прежде, немножко, к жене своей, еще тогда невесте; теперь же подумал, что если та узнает, что он оскорбление от меня перенес, а вызвать на поединок не решился, то чтобы не стала она невольно презирать его и не поколебалась любовь ее. Секунданта я достал скоро, товарища, нашего же полка поручика. Тогда хоть и преследовались поединки жестоко, но была на них как бы даже мода между военным, - до того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки. Был в исходе июнь, и вот встреча наша назавтра, за городом, в семь часов утра, - и воистину случилось тут со мной нечто как бы роковое. С вечера возвратившись домой, свирепый и безобразный, рассердился я на моего денщика Афанасия и ударил его изо всей силы два раза по лицу, так что окровавил ему лицо. Служил он у меня еще недавно, и случалось и прежде, что ударял его, но никогда с такою зверскою жестокостью. И верите ли, милые, сорок лет тому минуло времени, а припоминаю и теперь о том со стыдом и мукой. Лег я спать, заснул часа три, встаю, уже начинается день. Я вдруг поднялся, спать более не захотел, подошел к окну, отворил, - отпиралось у меня в сад, - вижу восходит солнышко, тепло, прекрасно, зазвенели птички. Что же это, думаю, ощущаю я в душе моей как бы нечто позорное и низкое? Не оттого ли, что кровь иду проливать? Нет, думаю, как будто и не оттого. Не оттого ли, что смерти боюсь, боюсь быть убитым? Нет, совсем не то, совсем даже не то... И вдруг сейчас же и догадался, в чем было дело: в том, что я с вечера избил Афанасия! Все мне вдруг снова представилось, точно вновь повторилось: стоит он предо мною, а я бью его с размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил как во фронте, вздрагивает с каждым ударом и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смеет, - и это человек до того доведен, и это человек бьет человека. Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою я как ошалелый, а солнышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а птички-то, птички-то бога хвалят... Закрыв я обеими ладонями лицо, повалился на постель и заплакал навзрыд. И вспомнил я тут моего брата Маркела и слова его пред смертью слугам: "Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, за что меня любите, да и стою ли я, чтобы служить-то мне?" "Да, стою ли", вскочило мне вдруг в голову. В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же как я образ и подобие божие, мне служил? Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос. "Матушка, кровинушка ты моя. воистину всякий пред всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если б узнали - сейчас был бы рай!" Господи, да неужто же и это неправда, плачу я и думаю, - воистину я за всех может быть всех виновнее, да и хуже всех на свете людей! И представилась мне вдруг вся правда, во всем просвещении своем: что я иду делать? Иду убивать человека доброго, умного, благородного, ни в чем пред мной неповинного, а супругу его тем навеки счастья лишу, измучаю и убью. Лежал я так на постели ничком, лицом в подушку и не заметил вовсе как и время прошло. Вдруг входит мой товарищ, поручик, за мной, с пистолетами: "А, говорит, вот это хорошо, что ты уже встал, пора, идем". Заметался я тут,

совсем потерялся, вышли мы однако же садиться в коляску: "Погоди здесь время, говорю ему, - я в один миг сбегая, кошелек забыл". И вбежал один в квартиру обратно, прямо в каморку к Афанасию: "Афанасий, говорю, - я вчера тебя ударил два раза по лицу, прости ты меня", говорю. Он так и вздрогнул, точно испугался, глядит, - и вижу я, что этого мало, мало, да вдруг, так как был в эполетах, то бух ему в ноги лбом до земли: "Прости меня!" говорю. Тут уж он и совсем обомлел: "Ваше благородие, батюшка, барин, да как вы... да стою ли я..." и заплакал вдруг сам, точно как давеча я, ладонями обеими закрыл лицо, повернулся к окну и весь от слез так и затрясся, я же выбежал к товарищу, влетел в коляску, "вези" кричу: "видал, кричу ему, - победителя, - вот он пред тобою!" Восторг во мне такой, смеюсь, всю дорогу говорю, говорю, не помню уж, что и говорил. Смотрит он на меня: "Ну брат, молодец же ты, вижу, что поддержишь мундир". Так приехали мы на место, а они уже там, нас ожидают. Расставили нас, в двенадцати шагах друг от друга, ему первый выстрел, - стою я пред ним веселый, прямо лицом к лицу, глазом не смигну, любя на него гляжу, знаю, что сделаю. Выстрелил он, капельку лишь оцарапало мне щеку да за ухо задело, - "слава богу, кричу, не убили человека!" да свой-то пистолет схватил, оборотился назад, да швырком, вверх, в лес и пустил: "Туда, кричу, тебе и дорога!" Оборотился к противнику: "Милостивый государь, говорю, простите меня, глупого молодого человека, что по вине моей вас разобидел, а теперь стрелять в себя заставил. Сам я хуже вас в десять крат, а пожалуй еще и того больше. Передайте это той особе, которую чтите больше всех на свете". Только что я это проговорил, - так все трое они и закричали: "Помилуйте, говорит мой противник, - рассердился даже, - если вы не хотели драться, к чему же беспокоили?" - "Вчера, говорю ему, - еще глуп был, а сегодня поумнел", весело так ему отвечаю. - "Верю про вчерашнее, говорит, но про сегодняшнее трудно заключить по вашему мнению". - "Браво, кричу ему, в ладоши захопал, - я с вами и в этом согласен, заслужил!" - "Будете ли, милостивый государь, стрелять или нет?" - "Не буду, говорю, - а вы если хотите, стреляйте еще раз, только лучше бы вам не стрелять". Кричат и секунденты, особенно мой: "Как это срамить полк, на барьере стоя, прощения просить; если бы только я это знал!" Стал я тут пред ними пред всеми и уже не смеюсь: "Господа мои, говорю, неужели так теперь для нашего времени удивительно встретить человека, который бы сам покаялся в своей глупости и повинился в чем сам виноват публично?" - "Да не на барьере же", кричит мой секундент опять. - "То-то вот и есть, отвечаю им, - это-то вот и удивительно, потому следовало бы мне повиниться только-что прибыли сюда, еще прежде ихнего выстрела, и не вводить их в великий и смертный грех, но до того безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что поступить так было почти и невозможно, ибо только после того как я выдержал их выстрел в двенадцати шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить, а если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто: трус, пистолета испугался и нечего его слушать. Господа, воскликнул я вдруг от всего сердца, посмотрите кругом на дары божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем..." Хотел я и еще продолжать, да не смог, дух даже у меня захватило, сладостно, юно так, а в сердце такое счастье, какого и не ощущал никогда во всю жизнь. "Благоразумно все это и благочестиво, - говорит мне противник, - и во всяком случае человек вы оригинальный". - "Смейтесь, - смеюсь и я ему, - а потом сами похвалите". - "Да я готов и теперь, говорит, похвалить, извольте, я протяну вам руку, потому, кажется, вы действительно искренний человек". - "Нет, говорю, сейчас не надо, а потом, когда я лучше сделаюсь и уважение ваше заслужу, тогда протяните, - хорошо сделаете". Воротились мы домой, секундент мой всю-то дорогу бранится, а я-то его целую. Тотчас все товарищи прослышали, собрались меня судить в тот же день: "мундир, дескать, замарал, пусть в отставку подает". Явились и защитники: "выстрел все же, говорят, он выдержал". - "Да, но побоялся других выстрелов и попросил на барьере прощения". - "А кабы побоялся выстрелов, возражают защитники, так из своего бы пистолета сначала выстрелил, прежде чем прощения просить, а он в лес его еще заряженный бросил, нет, тут что-то другое вышло, оригинальное". Слушаю я, весело мне на них глядя: "Любезнейшие мои, говорю я, друзья и товарищи, не беспокойтесь, чтоб я в отставку подал, потому что

это я уже и сделал, я уже подал, сегодня же в канцелярии, утром, и когда получу отставку, тогда тотчас же в монастырь пойду, для того и в отставку подаю". Как только я это сказал, расхохотались все до единого: "Да ты б с самого начала уведомил, ну теперь все и объясняется, монаха судить нельзя", смеются, не унижаются, да и не насмешливо вовсе, а ласково так смеются, весело, полюбили меня вдруг все, даже самые ярые обвинители, и потом весь-то этот месяц, пока отставка не вышла, точно на руках меня носят: "ах ты, монах", говорят. И всякий-то мне ласковое слово скажет, отговаривать начали, жалеть даже: "что ты над собой делаешь?" - "Нет, говорят, он у нас храбрый, он выстрел выдержал и из своего пистолета выстрелить мог, а это ему сон накануне приснился, чтоб он в монахи пошел, вот он отчего". Точно то же почти произошло и в городском обществе. Прежде особенно-то и не примечали меня, а только принимали с радушием, а теперь вдруг все наперерыв узнали и стали звать к себе: сами смеются надо мной, а меня же любят. Замечу тут, что хотя о поединке нашем все вслух тогда говорили, но начальство это дело закрыло, ибо противник мой был генералу нашему близким родственником, а так как дело обошлось без крови, а как бы в шутку, да и я наконец в отставку подал, то и повернули действительно в шутку. И стал я тогда вслух и безбоязненно говорить, несмотря на их смех, потому что все же был смех не злобный, а добрый. Происходили же все эти разговоры больше по вечерам в дамском обществе, женщины больше тогда полюбили меня слушать и мужчин заставляли. "Да как же это можно, чтоб я за всех виноват был, - смеется мне всякий в глаза, - ну разве я могу быть за вас, например, виноват?" - "Да где, - отвечаю им, - вам это и познать, когда весь мир давно уже на другую дорогу вышел, и когда сущую ложь за правду считаем, да и от других такой же лжи требуем. Вот я раз в жизни взял да и поступил искренно, и что же, стал для всех вас точно юродивый: хоть и полюбили меня, а все же надо мной, говорю, смеетесь". - "Да как вас такого не любить?" смеется мне вслух хозяйка, а собрание у ней было многолюдное. Вдруг, смотрю, подымается из среды дам та самая молодая особа, из-за которой я тогда на поединок вызвал и которую столь недавно еще в невесты себе прочил, а я и не заметил, как она теперь на вечер приехала. Поднялась, подошла ко мне, протянула руку: "Позвольте мне, говорит, изъяснить вам, что я первая не смеюсь над вами, а напротив со слезами благодарю вас и уважение мое к вам заявляю за тогдашний поступок ваш". Подошел тут и муж ее а затем вдруг и все ко мне потянулись, чуть меня не целуют. Радостно мне так стало, но пуще всех заметил я вдруг тогда одного господина, человека уже пожилого, тоже ко мне подходившего, которого я хотя прежде и знал по имени, но никогда с ним знаком не был, и до сего вечера даже и слова с ним не сказал.

г) Таинственный посетитель.

Был он в городе нашем на службе уже давно, место занимал видное, человек был уважаемый всеми, богатый, славился благотворительностью, пожертвовал значительный капитал на богадельню и на сиротский дом, и много кроме того делал благодеяний тайно, без огласки, что все потом по смерти его и обнаружилось. Лет был около пятидесяти, и вид имел почти строгий, был малоречив; женат же был не более десяти лет с супругой еще молодою, от которой имел трех малолетних еще детей. Вот я на другой вечер сижу у себя дома, как вдруг отворяется моя дверь и входит ко мне этот самый господин.

А надо заметить, что жил я тогда уже не на прежней квартире, а как только подал в отставку, съехал на другую и нанял у одной старой женщины, вдовы чиновницы, и с ее прислугой, ибо и переезд-то мой на сию квартиру произошел лишь потому только, что я Афанасия в тот же день, как с поединка воротился, обратно в роту препроводил, ибо стыдно было в глаза ему глядеть после давешнего моего с ним поступка, - до того склонен стыдиться неприготовленный мирской человек даже иного справедливейшего своего дела.

"Я, - говорит мне вошедший ко мне господин, - слушаю вас уже несколько дней в разных домах с большим любопытством и пожелал наконец познакомиться лично, чтобы поговорить с вами еще подробнее. Можете вы оказать мне, милостивый государь, таковую великую услугу?" - "Могу, говорю, с превеликим моим удовольствием и почту за особую честь", говорю это ему, а сам почти испугался, до того он меня с первого разу тогда поразил. Ибо хоть и слушали меня и любопытствовали, но никто еще с таким серьезным и строгим внутренним видом ко мне не подходил. А этот еще сам в квартиру ко мне пришел. Сел он. "Великую, - продолжает он, - вижу в вас силу характера, ибо не побоялись

истине послужить в таком деле, в каком рисковали, за свою правду, общее презрение от всех понести". - "Вы может быть очень меня преувеличенно хвалите", говорю я ему. - "Нет, не преувеличенно, - отвечает мне, - поверьте, что совершить таковой поступок гораздо труднее, чем вы думаете. Я собственно, - продолжает он, - этим только и поразился и за этим к вам и пришел. Опишите мне, если не побрезгаете столь непристойным может быть моим любопытством, что именно ощущали вы в ту минуту, когда на поединке решились просить прощения, если только запомните? Не сочтите вопрос мой за легкомыслие; напротив, имею, задавая таковой вопрос, свою тайную цель, которую вероятно и объясню вам впоследствии, если угодно будет богу сблизить нас еще короче".

Все время, как он говорил это, глядел я ему прямо в лицо и вдруг ощутил к нему сильнейшую доверенность, а кроме того и необычайное и с моей стороны любопытство, ибо почувствовал, что есть у него в душе какая-то своя особая тайна.

- Вы спрашиваете, что я именно ощущал в ту минуту, когда у противника прощения просил, - отвечаю я ему, - но я вам лучше с самого начала расскажу, чего другим еще не рассказывал, - и рассказал ему все, что произошло у меня с Афанасием и как поклонился ему до земли. "Из сего сами можете видеть, - заключил я ему, - что уже во время поединка мне легче было, ибо начал я еще дома, и раз только на эту дорогу вступил, то все дальнейшее пошло не только не трудно, а даже радостно и весело".

Выслушал он, смотрит так хорошо на меня: "Все это, говорит, чрезвычайно как любопытно, я к вам еще и еще приду". И стал с тех пор ко мне ходить чуть не каждый вечер. И сдружились бы мы очень, если б он мне и о себе говорил. Но о себе он не говорил почти ни слова, а все меня обо мне же расспрашивал. Несмотря на то, я очень его полюбил и совершенно ему доверился во всех моих чувствах, ибо мысля: на что мне тайны его, вижу и без сего, что праведен человек. К тому же еще человек столь серьезный и неравный мне летами, а ходит ко мне, юноше, и мною не брезгает. И многому я от него научился полезному, ибо высокого ума был человек. "Что жизнь есть рай, - говорит вдруг мне, - об этом я давно уже думаю", и вдруг прибавил: "Только ведь об этом и думаю". Смотрит на меня и улыбается. "Я больше вашего в этом, говорит, убежден, потом узнаете почему". Слушаю я это и думаю про себя: "Это он наверно хочет мне нечто открыть". "Рай, говорит, в каждом из нас затаен, вот он теперь и во мне кроется, и захочу завтра же настанет он для меня в самом деле и уже на всю мою жизнь". Гляжу: с умилением говорит и таинственно на меня смотрит, точно вопрошает меня. "А о том, продолжает, что всякий человек за всех и за вся виноват, помимо своих грехов, о том вы совершенно правильно рассудили и удивительно, как вы вдруг в такой полноте могли сию мысль обнять. И воистину верно, что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них царствие небесное уже не в мечте, а в самом деле". - "А когда, воскликнул я ему тут с горестию, - сие сбудется, и сбудется ли еще когда-нибудь? Не мечта ли сие лишь только?" - "А вот уж вы, - говорит, - не веруете, проповедуете и сами не веруете. Знайте же, что несомненно сия мечта, как вы говорите, сбудется, тому верьте, но не теперь, ибо на всякое действие свой закон. Дело это душевное, психологическое. Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства. Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделить в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Вы спрашиваете, когда сие сбудется. Сбудется, но сначала должен заключиться период человеческого уединения. - "Какого это уединения?" спрашиваю его. - "А такого, какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке, но не заключился еще весь и не пришел еще срок ему. Ибо всякий-то теперь стремится отделить свое лицо наиболее, хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем выходит из всех его усилий вместо полноты жизни лишь полное самоубийство, ибо вместо полноты определения существа своего впадают в совершенное уединение. Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и что имеет прячет, и кончает тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает: сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает безумный, что чем более копит, тем более

погружается в самоубийственное бессилие. Ибо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество, и только и трепещет того, что пропадут его деньги и приобретенные им права его. Повсеместно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии, а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестественно отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а света не видели. Тогда и явится знамение сына человеческого на небеси... Но до тех пор надо все-таки знамя беречь и нет-нет, а хоть единично должен человек вдруг пример показать и вывести душу из уединения на подвиг братолюбивого общения, хотя бы даже и в чине юродивого. Это чтобы не умирала великая мысль..."

Вот в таких-то пламенных и восторгающих беседах проходили вечера наши один за другим. Я даже и общество бросил и гораздо реже стал появляться в гостях, кроме того, что и мода на меня начала проходить. Говорю сие не в осуждение, ибо продолжали меня любить и весело ко мне относиться; но в том, что мода действительно в свете царица не малая, в этом все же надо сознаться. На таинственного же посетителя моего стал я наконец смотреть в восхищении, ибо, кроме наслаждения умом его, начал предчувствовать, что питает он в себе некий замысел и готовится к великому может быть подвигу. Может и то ему нравилось, что я наружно не любопытствовал о секрете его, ни прямо, ни намеком не расспрашивал. Но заметил я наконец, что и сам он как бы начал уже томиться желанием открыть мне нечто. По крайней мере это уже очень стало видно примерно месяц спустя как он стал посещать меня. "Знаете ли вы, - спросил он меня однажды, - что в городе очень опасны обоим любопытствуют и дивятся тому, что я к вам столь часто хожу; но пусть их, ибо скоро все объяснится. Иногда вдруг нападало на него чрезвычайное волнение, и почти всегда в таких случаях он вставал и уходил. Иногда же долго и как бы пронзительно смотрит на меня, - думаю: "Что-нибудь сейчас да и скажет", а он вдруг перебьет и заговорит о чем-нибудь известном и обыкновенном. Стал тоже часто жаловаться на головную боль. И вот однажды, совсем даже неожиданно, после того как он долго и пламенно говорил, вижу, что он вдруг побледнел, лицо совсем перекошилось, сам же на меня глядит как в упор.

- Что с вами, - говорю, - уж не дурно ли вам?

А он именно на головную боль жаловался.

- Я... знаете ли вы... я... человека убил.

Проговорил да улыбается, а сам белый как мел. Зачем это он улыбается, - пронзила мне мысль эта вдруг сердце, прежде чем я еще что-либо сообразил. Сам я побледнел:

- Что вы это? - кричу ему.

- Видите ли, - отвечает мне все с бледною усмешкой, - как дорого мне стоило сказать первое слово. Теперь сказал и, кажется, стал на дорогу. Поеду.

Долго я ему не верил, да и не в один раз поверил, а лишь после того как он дня три ходил ко мне и все мне в подробности рассказал. Считал его за помешанного, но кончил тем, что убедился наконец явно с превеликою горестью и удивлением. Было им совершено великое и страшное преступление, четырнадцать лет пред тем, над одною богатою госпожей, молодою и прекрасною собой, вдовой-помещицей, имевшею в городе нашем для приезда собственный дом. Почувствовав к ней любовь великую, сделал он ей изъяснение в любви и начал склонять ее выйти за него замуж. Но она отдала уже свое сердце другому, одному знатному не малого чина военному, бывшему в то время в походе, и которого ожидала она однако скоро к себе. Предложение его она отвергла, а его попросила к себе не ходить. Перестав ходить, он, зная расположение ее дома, пробрался к ней ночью из сада чрез крышу, с превеликою дерзостью, рискуя быть обнаруженным. Но как весьма часто бывает, все с необыкновенною дерзостью совершаемые преступления чаще других и удаются. Чрез слуховое окно войдя на чердак дома, он спустился к ней вниз в жилые комнаты по лесенке с чердака, зная, что дверь, бывшая в конце лесенки, не всегда по небрежности слуг запиралась на замок. Понадеялся на оплошность сию и в сей раз, и как раз застал. Пробравшись в жилые покои, он, в темноте, прошел в ее спальню, в которой горела лампада. И как нарочно обе горничные ее девушки ушли потихоньку без спросу, по соседству, на именинную пирушку, случившуюся в той

же улице. Остальные же слуги и служанки спали в людских и в кухне, в нижнем этаже. При виде спящей разгорелась в нем страсть, а затем схватила его сердце мстительная ревнивая злоба, и, не помня себя, как пьяный, подошел и вонзил ей нож прямо в сердце, так что она и не вскрикнула. Затем с адским и с преступнейшим расчетом устроил так, чтобы подумали на слуг: не побрезгал взять ее кошелек, отворил ключами, которые вынул из-под подушки, ее комод и захватил из него некоторые вещи, именно так как бы сделал невежа-слуга, то-есть ценные бумаги оставил, а взял одни деньги, взял несколько золотых вещей покрупнее, а драгоценнейшими в десять раз, но малыми вещами пренебрег. Захватил и еще кое-что себе на память, но о сем после. Совершив сие ужасное дело, вышел прежним путем. Ни на другой день, когда поднялась тревога, и никогда потом во всю жизнь, никому и в голову не пришло заподозрить настоящего злодея! Да и о любви его к ней никто не знал, ибо был и всегда характера молчаливого и несообщительного, и друга, которому поверял бы душу свою, не имел. Считали же его просто знакомым убитой и даже не столь близким, ибо в последние две недели он и не посещал ее. Заподозрили же тотчас крепостного слугу ее Петра, и как раз сошлись все обстоятельства, чтоб утвердить сие подозрение, ибо слуга этот знал, и покойница сама не скрывала, что намерена его в солдаты отдать, в зачет следуемого с ее крестьян рекрута, так как был одинок и дурного сверх того поведения. Слышали, как он в злобе пьяный, грозился в питейном доме убить ее. За два же дня до ее кончины сбежал и проживал где-то в городе в неизвестных местах. На другой же день после убийства нашли его на дороге, при выезде из города, мертво-пьяного, имевшего в кармане своем нож, да еще с запачканною почему-то в крови правую ладоню. Утверждал, что кровь шла из носу, но ему не поверили. Служанки же повинились, что были на пирушке, и что входные двери с крыльца оставались незапертыми до их возвращения. Да и множество сверх того являлось подобных сему признаков, по которым неповинного слугу и захватили. Арестовали его и начали суд, но как раз через неделю арестованный заболел в горячке и умер в больнице без памяти. Тем дело и кончилось, предали воле божьей, и все, и судьи, и начальство, и все общество, остались убеждены, что совершил преступление никто как умерший слуга. А за сим началось наказание.

Таинственный гость, а теперь уже друг мой, поведал мне, что вначале даже и совсем не мучился угрызениями совести. Мучился долго, но не тем, а лишь сожалением, что убил любимую женщину, что ее нет уже более, что, убив ее, убил любовь свою, тогда как огонь страсти оставался в крови его. Но о пролитой неповинной крови, об убийстве человека он почти тогда и не мыслил. Мысль же о том, что жертва его могла стать супругой другому, казалась ему невозможною, а потому долгое время убежден был в совести своей, что и не мог поступить иначе. Томил его несколько вначале арест слуги, но скорая болезнь, а потом и смерть арестанта успокоили его, ибо умер тот, по всей очевидности (рассуждал он тогда), не от ареста или испуга, а от простудной болезни, приобретенной именно во дни его бегов, когда он, мертво-пьяный, валялся целую ночь на сырой земле. Краденые же вещи и деньги мало смущали его, ибо (все так же рассуждал он) сделана кража не для корысти, а для отвода подозрений в другую сторону. Сумма же краденого была незначительная, и он в скорости всю эту сумму, и даже гораздо большую, пожертвовал на учредившуюся у нас в городе богадельню. Нарочно сделал сие для успокоения совести насчет кражи, и, замечательно, на время и, даже долгое, действительно успокоился, - сам передавал мне это. Пустился он тогда в большую служебную деятельность, сам напросился на хлопотливое и трудное поручение, занимавшее его года два, и, будучи характера сильного, почти забывал происшедшее; когда же вспоминал, то старался не думать о нем вовсе. Пустился и в благотворительность, много устроил и пожертвовал в нашем городе, заявил себя и в столицах, был избран в Москве и в Петербурге членом тамошних благотворительных обществ. Но все же стал наконец задумываться с мучением, не в подъем своим силам. Тут понравилась ему одна прекрасная и благоразумная девица, и он в скорости женился на ней, мечтая, что женитьбой прогонит уединенную тоску свою, а вступив на новую дорогу и исполняя ревностно долг свой относительно жены и детей, удалится от старых воспоминаний вовсе. Но как раз случилось противное сему ожиданию. Еще в первый месяц брака стала его смущать беспрерывная мысль: "Вот жена любит меня, ну что если б она узнала?" Когда стала беременна первым ребенком и поведала ему это, он вдруг смутился: "Даю жизнь, а сам отнял жизнь". Пошли дети: "Как я смею любить, учить и воспитать их,

как буду про добродетель им говорить: я кровь пролил". Дети растут прекрасные, хочется их ласкать: "А я не могу смотреть на их невинные, ясные лики; недостойн того". Наконец начала ему грозно и горько мерещиться кровь убитой жертвы, погубленная молодая жизнь ее, кровь, вопиющая об отмщении. Стал он видеть ужасные сны. Но будучи тверд сердцем, сносил муку долго: "Искуплю все сею тайною мукой моею". Но напрасная была и сия надежда: чем дальше, тем сильнее становилось страдание. В обществе за благотворительную деятельность стали его уважать, хотя и боялись все строгого и мрачного характера его, но чем более стали уважать его, тем становилось ему невыносимее. Признавался мне, что думал было убить себя. Но вместо того начала мерещиться ему иная мечта. - мечта, которую считал он вначале невозможной и безумной, но которая так присосалась, наконец, к его сердцу, что и оторвать нельзя было. Мечтал он так: восстать, выйти пред народ и объявить всем, что убил человека. Года три он проходил с этой мечтой, мерещилась она ему все в разных видах. Наконец уверовал всем сердцем своим, что, объявив свое преступление, излечит душу свою несомненно и успокоится раз навсегда. Но, уверовав, почувствовал в сердце ужас, ибо как исполнить? И вдруг произошел этот случай на моем поединке. "Глядя на вас, я теперь решился". Я смотрю на него:

- И неужели, - воскликнул я ему, всплеснув руками, - такой малый случай мог решить такую в вас породить?

- Решимость моя три года рождалась, - отвечает мне, - а случай ваш дал ей только толчок. Глядя на вас, упрекнул себя и вам позавидовал, - проговорил он мне это даже с суровостью.

- Да вам и не поверят, - заметил я ему, - четырнадцать лет прошло.

- Доказательства имею, великие. Представлю. И заплакал я тогда, облобызал его.

- Одно решите мне, одно! - сказал он мне (точно от меня теперь все и зависело): - жена, дети! Жена умрет может быть с горя, а дети хоть и не лишатся дворянства и имения, - но дети варнака, и навек. А память-то, память какую в сердцах их по себе оставлю!

Молчу я.

- А расстаться-то с ними, оставить навеки? Ведь навек, навек!

Сию я, молча про себя молитву шепчу. Встал я наконец, страшно мне стало.

- Что же? - смотрит на меня.

- Идите, - говорю, объявите людям. Все минется, одна правда останется. Дети поймут, когда вырастут, сколько в великой решимости вашей было великодушия.

Ушел он тогда от меня как бы и впрямь решившись. Но все же более двух недель потом ко мне ходил, каждый вечер сряду, все приготавливался, все не мог решиться. Измучил он мое сердце. То приходит тверд и говорит с умилением:

- Знаю, что наступит рай для меня, тотчас же и наступит, как объявлю. Четырнадцать лет был во аде. Пострадать хочу. Приму страдание и жить начну. Неправдой свет пройдешь, да назад не воротиться. Теперь не только ближнего моего, но и детей моих любить не смею. Господи, да ведь поймут же дети может быть чего стоило мне страдание мое, и не осудят меня! Господь не в силе, а в правде.

- Поймут все подвиг ваш, - говорю ему, - не сейчас, так потом поймут, ибо правде послужили, высшей правде, неземной...

И уйдет он от меня как бы утешенный, а назавтра вдруг опять приходит злобный, бледный, говорит насмешливо:

- Каждый раз как вхожу к вам, вы смотрите с таким любопытством: "Опять дескать не объявил?" Подождите, не презирайте очень. Не так ведь оно легко сделать, как вам кажется. Я может быть еще и не сделаю вовсе. Не пойдете же вы на меня доносить тогда, а?

А я бывало не только что смотрел с любопытством неразумным, я и взглянуть-то на него боялся. Измучен был я до болезни, и душа моя была полна слез. Ночной даже сон потерял.

- Я сейчас, - продолжает, - от жены. Понимаете ли вы, что такое жена? Детки, когда я уходил, прокричали мне:

"Прощайте, папа, приходите скорее с нами Детское чтение читать". Нет, вы этого не понимаете! Чужая беда не дает ума.

Сам засверкал глазами, губы запрыгали. Вдруг стукнул о стол кулаком,

так что вещи на столе вспрыгнули, – такой мягкий человек, в первый раз с ним случилось.

– Да нужно ли? – воскликнул, – да надо ли? Ведь никто осужден не был, никого в каторгу из-за меня не сослали, слуга от болезни помер. А за кровь пролианную я мучениями был наказан. Да и не поверят мне вовсе, никаким доказательствам моим не поверят. Надо ли объявлять, надо ли? За кровь пролитую я всю жизнь готов еще мучиться, только чтобы жену и детей не поразить. Будет ли справедливо их погубить с собою? Не ошибаемся ли мы? Где тут правда? Да и познают ли правду эту люди, оценят ли, почтут ли ее?

"Господи! мысля про себя, о почтении людей думает в такую минуту!" И до того жалко мне стало его тогда, что, кажись, сам бы разделил его участь, лишь бы облегчить его. Вижу, он как исступленный. Ужаснулся я, поняв уже не умом одним, а живую душой, чего стоит такая решимость.

– Решайте же судьбу! – воскликнул опять.

– Идите и объявите, – прошептал я ему. Голосу во мне не хватило, но прошептал я твердо. Взял я тут со стола Евангелие, русский перевод, и показал ему от Иоанна, глава XII, стих 24:

"Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода". Я этот стих только-что прочитал пред его приходом.

Прочел он: "Правда", говорит, но усмехнулся горько: "Да, в этих книгах, – говорит, помолчав, – ужас что такое встретишь. Под нос-то их легко совать. И кто это их писал, неужели люди?"

– Дух святы́й писал, – говорю.

– Болтать-то вам легко, – усмехнулся он еще, но уже почти ненавистно. Взял я книгу опять, развернул в другом месте и показал ему к Евреям, глава X, стих 31. Прочел он:

"Страшно впасть в руки бога живаго".

Прочел он, да так и отбросил книгу. Задрожал весь даже.

– Страшный стих, – говорит, – нечего сказать, подобрали. Встал со стула: – Ну, говорит, – прощайте, может больше и не приду... в раю увидимся. Значит четырнадцать лет, как уже "впал я в руки бога живаго", – вот как эти четырнадцать лет, стало быть, называются. Завтра попрошу эти руки, чтобы меня отпустили...

Хотел было я обнять и облобызать его, да не посмел, – искривленно так лицо у него было и смотрел тяжело. Вышел он. "Господи, подумал я, куда пошел человек!" Бросился я тут на колени пред иконой и заплакал о нем пресвятой богородице, скорой заступнице и помощнице. С полчаса прошло как я в слезах на молитве стоял, а была уже поздняя ночь, часов около двенадцати. Вдруг смотрю, отворяется дверь, и он входит снова. Я изумился.

– Где же вы были? – спрашиваю его.

– Я, – говорит, – я, кажется, что-то забыл... платок, кажется... Ну, хоть ничего не забыл, дайте присесть-то...

Сел на стул. Я стою над ним. "Сядьте, говорит, и вы". Я сел. Просидели минуты с две, смотрит на меня пристально и вдруг усмехнулся, запомнил я это, затем встал, крепко обнял меня и поцеловал...

– Попомни, – говорит, – как я к тебе в другой раз приходил. Слышишь, попомни это!

В первый раз мне ты сказал. И ушел. "Завтра", подумал я.

Так оно и сбылось. И не знал я в сей вечер, что на завтра как раз приходится день рождения его. Сам я в последние дни никуда не выходил, а потому и узнать не мог ни от кого. В этот же день у него ежегодно бывало большое собрание, съезжался весь город. Съехались и теперь. И вот, после обеденной трапезы, выходит он на середину, а в руках бумага – форменное донесение по начальству. А так как начальство его было тут же, то тут же и прочел бумагу вслух всем собравшимся, а в ней полное описание всего преступления во всей подробности: "Как изверга себя извергаю из среды людей, бог посетил меня", – заключил бумагу, – "пострадать хочу!" Тут же вынес и выложил на стол все, чем мнил доказать свое преступление и что четырнадцать лет сохранял: золотые вещи убитой, которые похитил, думая отвлечь от себя подозрение, медальон и крест ее, снятые с шеи, – в медальоне портрет ее жениха, записную ее книжку и наконец два письма: письмо жениха ее к ней с извещением о скором прибытии, и ответ ее на сие письмо, который начала и не дописала, оставила на столе, чтобы завтра отослать на почту. Оба письма

захватил он с собою, - для чего? Для чего потом сохранял четырнадцать лет вместо того, чтоб истребить как улики? И вот что же случилось: все пришли в удивление и в ужас, и никто не захотел поверить, хотя все выслушали с чрезвычайным любопытством, но как от больного, а несколько дней спустя уже совсем решено было во всех домах и приговорено, что несчастный человек помешался. Начальство и суд не могли не дать хода делу, но приостановились и они: хотя представленные вещи и письма и заставили размышлять, но решено было и тут, что если сии документы и оказались бы верными, то все же окончательное обвинение не могло бы быть произнесено на основании только сих документов. Да и вещи все он мог иметь от нее самой, как знакомый ее, и по доверенности. Слышал я, впрочем, что подлинность вещей была потом проверена чрез многих знакомых и родных убитой, и что сомнений в том не было. Но делу сему опять не суждено было завершиться. Дней через пять все узнали, что страдалец заболел и что опасаются за жизнь его. Какую болезнь он заболел, - не могу объяснить, говорили, что расстройством сердцебиения, но известно стало, что совет докторов, по настоянию супруги его, свидетельствовал и душевное его состояние, и что вынесли заключение, что помешательство уже есть. Я ничего не выдал, хотя и бросились расспрашивать меня, но когда пожелал его навестить, то долго мне возбраняли, главного супруга его: "Это вы, говорит мне, его расстроили, он и прежде был мрачен, а в последний год все замечали в нем необыкновенное волнение и странные поступки, а тут как раз вы его погубили; это вы его зачитали, не выходил он от вас целый месяц". И что же, не только супруга, но и все в городе накинулись на меня и меня обвинили: "Это все вы", говорят. Я молчу, да и рад в душе, ибо узрел несомненную милость божию к восставшему на себя и казнившему себя. А помешательству его я верить не мог. Допустили наконец и меня к нему, сам потребовал того настоятельно, чтобы проститься со мной. Вошел я и как раз увидел, что не только дни, но и часы его сочтены. Был он слаб, желт, руки трепещут, сам задыхается, но смотрит умиленно и радостно.

- Совершилось! - проговорил мне, - давно жажду видеть тебя, что не приходил?

Я ему не объявил, что меня не допускали к нему.

- Бог сжалился надо мной и зовет к себе. Знаю, что умираю, но радость чувствую и мир после стольких лет впервые. Разом ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже смею любить детей моих и лобызать их. Мне не верят, и никто не поверил, ни жена, ни судьи мои; не поверят никогда и дети. Милость божию вижу в сем к детям моим. Умру, и имя мое будет для них незапятнано. А теперь предчувствую бога, сердце как в раю веселится... долг исполнил...

Говорить не может, задыхается, горячо мне руку жмет, пламенно глядит на меня. Но недолго мы беседовали, супруга его беспрерывно к нам заглядывала. Но успел-таки шепнуть мне:

- А помнишь ли, как я к тебе тогда в другой раз пришел, в полночь? Еще запомнить тебе велел? Знаешь ли, для чего я входил? Я ведь убить тебя приходил!

Я так и вздрогнул.

- Вышел я тогда от тебя во мрак, бродил по улицам и боролся с собою. И вдруг возненавидел тебя до того, что едва сердце вынесло. "Теперь, думаю, он единый связал меня, и судия мой, не могу уже отказаться от завтрашней казни моей, ибо он все знает". И не то, чтоб я боялся, что ты донесешь (не было и мысли о сем), но думаю: "Как я стану глядеть на него, если не донесу на себя?" И хотя бы ты был за тридевять земель, но жив, все равно, невыносима эта мысль, что ты жив и все знаешь, и меня судишь. Возненавидел я тебя, будто ты всему причиной и всему виноват. Воротился я к тебе тогда, помню, что у тебя на столе лежит кинжал. Я сел и тебя сесть попросил, и целую минуту думал. Если б я убил тебя, то все равно бы погиб за это убийство, хотя бы и не объявил о прежнем преступлении. Но о сем я не думал вовсе, и думать не хотел в ту минуту. Я только тебя ненавидел и отомстить тебе желал изо всех сил за все. Но господь мой поборол диавола в моем сердце. Знай однако что никогда ты не был ближе от смерти.

Через неделю он помер. Гроб его до могилы провожал весь город. Протоиерей сказал прочувствованное слово. Оплакивали страшную болезнь, прекратившую дни его. Но весь город восстал на меня, когда похоронили его, и даже принимать меня перестали. Правда, некоторые, вначале немногие, а потом

все больше и больше стали воровать в истину его показаний, и очень начали посещать меня и расспрашивать с большим любопытством и радостью: ибо любит человек падение праведного и позор его. Но я замолчал и в скорости из города совсем выбыл, а через пять месяцев удостоился господом богом стать на путь твердый и благолепный, благословляя перст невидимый, мне столь явно сей путь указавший. А многострадального раба божия Михаила памятью в молитвах моих и до сего дня на каждый день.

III. ИЗ БЕСЕД И ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА ЗОСИМЫ.

д) Нечто об иноке русском и о возможном значении его.

Отцы и учителя, что есть иннок? В просвещенном мире слово сие произносится в наши дни у иных уже с насмешкой, а у некоторых и как бранное. И чем дальше, тем больше. Правда, ох правда, много и в монашестве тунеядцев, плотоугодников, сластолюбцев и наглых бродяг. На сие указывают образованные светские люди: "Вы, дескать, лентяи и бесполезные члены общества, живете чужим трудом, бесстыдные нищие". А между тем, сколь много в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламенной в тишине молитвы. На сих меньше указывают и даже обходят молчанием вовсе, и сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких и жаждущих уединенной, молитвы выйдет может быть еще раз спасение земли русской! Ибо воистину приготовлены в тишине "на день и час, и месяц и год". Образ Христов хранят пока в уединении своем благолепно и неискаженно, в чистоте правды божией, от древнейших отцов, апостолов и мучеников, некогда надо будет, явят его поколебавшейся правде мира. Сия мысль великая. От востока звезда сия воссияет.

Так мыслю об иноке и неужели ложно, неужели надменно? Посмотрите у мирских и во всем превозносящемся над народом божим мире, не искались ли в нем лик божий и правда его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая половина существа человеческого отвергнута вовсе, изгнана с неким торжеством, даже с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в последнее время особенно, и что же видим в этой свободе ихней: одно лишь рабство и самоубийство! Ибо мир говорит: "Имеешь потребности, а потому насыщай их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не бойся насыщать их, но даже приумножай", - вот нынешнее учение мира. В этом и видят свободу. И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных - зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяют, что мир чем далее, тем более единится, слагается в братское общение, тем что сокращает расстояния, передает по воздуху мысли. Увы, не верьте таковому единению людей. Понимая свободу, как приумножение и скорое утоление потребностей, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок. Живут лишь для зависти друг к другу, для плотоугодия и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, чины и рабов-прислужников считается уже такою необходимостью, для которой жертвуют даже жизнью, честью и человеколюбием, чтоб утолить эту необходимость, и даже убивают себя, если не могут утолить ее. У тех, которые не богаты, то же самое видим, а у бедных неутоление потребностей, зависть пока заглушаются пьянством. Но вскоре вместо вина упьются и кровью, к тому их ведут. Спрашиваю я вас: Свободен ли такой человек? Я знал одного "борца за идею", который сам рассказывал мне, что, когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою "идею", чтобы только дали ему табаку. А ведь этакой говорит: "за человечество бороться иду". Ну куда такой пойдет и на что он способен? На скорый поступок разве, а долго не вытерпит. И не дивно, что вместо свободы впали в рабство, а вместо служения братолюбию и человеческому единению впали напротив в отъединение и уединение, как говорил мне в юности моей таинственный гость и учитель мой. А потому в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и

целостности людей и воистину встречается мысль сия даже уже с насмешкой, ибо как отстать от привычек своих, куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои, которые сам же навывдумал? В уединении он, и какое ему дело до целого. И достигли того, что вещей накопили больше, а радости стало меньше.

Другое дело путь иноческий. Над послушанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них заключается путь к настоящей, истинной уже свободе: отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного! Кто же из них способнее вознести великую мысль и пойти ей служить, - уединенный ли богач или сей освобожденный от тиранства вещей и привычек? Инока корят его уединением: "Уединился ты, чтобы себя спасти в монастырских стенах, а братское служение человечеству забыл". Но посмотрим еще, кто более братолюбиво поусердствует? Ибо уединение не у нас, а у них, но не видят сего. А от нас и издревле деятели народные выходили, отчего же не может их быть и теперь? Те же смиренные и кроткие постники и молчальники восстанут и пойдут на великое дело. От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом. Если же народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ богоносец.

е) Нечто о господах и слугах и о том, возможно ли господам и слугам стать взаимно по духу братьями.

Боже, кто говорит, и в народе грех. А пламень растления умножается даже видимо, ежечасно, сверху идет. Наступает и в народе уединение: начинаются кулаки и мироеды; уже купец все больше и больше желает почестей, стремится показать себя образованным, образования не имея ни мало, а для сего гнусно пренебрегает древним обычаем и стыдится даже веры отцов. Ездит ко князьям, а всего-то сам мужик порченый. Народ загноился от пьянства и не может уже отстать от него. А сколько жестокости к семье, к жене, к детям даже; от пьянства все. Видал я на фабриках девятилетних даже детей: хилых, чахлах, согбенных и уже развратных. Душная палата, стучащая машина, весь божий день работы, развратные слова и вино, вино, а то ли надо душе такого малого еще дитяти? Ему надо солнце, детские игры и всюду светлый пример и хоть каплю любви к нему. Да не будет же сего, иноки, да не будет истязания детей, восстаньте и проповедайте сие скорее, скорее. Но спасет бог Россию, ибо хоть и развратен простолудин и не может уже отказать себе во смрадном грехе, но все же знает, что проклят богом его смрадный грех, и что поступает он худо, греша. Так что неустанно еще верует народ наш в правду, бога признает, умилительно плачет. Не то у высших. Те во след науке хотят устроиться справедливо одним умом своим, но уже без Христа, как прежде, и уже провозгласили, что нет преступления, нет уже греха. Да оно и правильно по-ихнему: ибо если нет у тебя бога, то какое же тогда преступление? В Европе восстает народ на богатых уже силой, и народные вожаки повсеместно ведут его к крови и учат, что прав гнев его. Но "проклят гнев их, ибо жесток". А Россию спасет господь, как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения его. Отцы и учителя, берегите веру народа, и не мечта сие: поражало меня всю жизнь в великом народе нашем его достоинство благолепное и истинное, сам видел, сам свидетельствовать могу, видел и удивлялся, видел, несмотря даже на смрад грехов и нищий вид народа нашего. Не раболепен он, и это после рабства двух веков. Свободен видом и обращением, но безо всякой обиды. И не мстителен, и не завистлив. "Ты знатен, ты богат, ты умен и талантлив, - и пусть, благослови тебя бог. Чту тебя, но знаю, что и я человек. Тем, что без зависти чту тебя, тем-то и достоинство мое являю пред тобой человеческое". Воистину, если не говорят сего (ибо не умеют еще сказать сего), то так поступают, сам видел, сам испытывал, и верите ли: чем беднее и ниже человек наш русский, тем и более в нем сей благолепной правды заметно, ибо богатые из них кулаки и мироеды во множестве уже развращены, и много, много тут от нерадения и несмотрения нашего вышло! Но спасет бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим. Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будет так, что даже

самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим: на то идет. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство, а раньше братства никогда не разделяется. Образ Христов храним, и воссияет как драгоценный алмаз всему миру... Буди, буди!

Отцы и учителя, произошло раз со мною умиленное дело. Странствуя, встретил я однажды, в губернском городе К., бывшего моего денщика Афанасия, а с тех пор, как я расстался с ним, прошло уже тогда восемь лет. Нечаянно увидел меня на базаре, узнал, подбежал ко мне, и боже, сколь обрадовался. так и кинулся ко мне: "Батюшка, барин, выли это? Да неужто вас вижу?" Повел меня к себе. Был уже он в отставке, женился, двух детей младенцев уже прижил. Проживал с супругой своею мелким торгом на рынке с лотка. Комнатка у него бедная, но чистенькая, радостная. Усадил меня, самовар поставил, за женой послал, точно я праздник какой ему сделал, у него появившись. Подвел ко мне деток: "благословите, батюшка". "Мне ли благословлять, отвечаю ему, инок я простой и смиренный, бога о них помолю, а о тебе, Афанасий Павлович, и всегда, на всяк день, с того самого дня, бога молю, ибо с тебя, говорю, все и вышло". И объяснил ему я это, как умел. Так что же человек: смотрит на меня и все не может представить, что я, прежний барин его, офицер, пред ним теперь в таком виде и в такой одежде: заплакал даже. "Чего же ты плачешь, говорю ему, незабвенный ты человек, лучше повеселись за меня душой, милый, ибо радостен и светел путь мой". Многого не говорил, а все охал и качал на меня головой умиленно. "Где же ваше, спрашивает, богатство?" Отвечаю ему: "В монастырь отдал, а живем мы в общежитии". После чаю стал я прощаться с ними, и вдруг вынес он мне полтину, жертву на монастырь, а другую полтину, смотрю, сует мне в руку, торопится: "это уж вам, говорит, странному, путешествующему, пригодится вам может, батюшка". Принял я его полтину, поклонился ему и супруге его и ушел обрадованный, и думаю дорогой: "вот мы теперь оба, и он у себя, и я идущий, охаем, должно быть, да усмехаемся радостно, в веселии сердца нашего, покивая головой и вспоминая, как бог привел встретиться". И больше я уж с тех пор никогда не видал его. Был я ему господин, а он мне слуга, а теперь, как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сем много, а теперь мыслю так: неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет, и сроки близки.

А про слуг прибавлю следующее: сердился я прежде, юношею, на слуг много: "кухарка горячо подала, денщик платье не вычистил". Но озарила меня тогда вдруг мысль моего милого брата, которую слышал от него в детстве моем: "стою ли я того и весь-то, чтобы мне другой служил, а чтоб я, за нищету и темноту его, им помыкал?" И подивился я тогда же, сколь самые простые мысли, воочию ясные, поздно появляются в уме нашем. Без слуг невозможно в миру, но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугою. И почему я не могу быть слугою слуге моему и так, чтоб он даже видел это, и уж безо всякой гордости с моей стороны, а с его, неверия? Почему не быть слуге моему как бы мне родным, так что приму его наконец в семью свою и возрадуюсь сему? Даже и теперь еще это так исполнимо, но послужит основанием к будущему уже великолепному единению людей, когда не слуг будет искать себе человек и не в слуг пожелает обращать себе подобных людей, как ныне, а напротив изо всех сил пожелает стать сам всем слугою по евангелию. И неужели сие мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, - в объядении, блуде, чванстве, хвастовстве и завистливом превьшении одного над другим? Твердо верую, что нет, и что время близко. Смеются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немыслимы были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш и скажут все люди: "камень, который отвергли зиждущие, стал главою угла". А насмешников вопросить бы самих: если у нас мечта, то когда же вы-то воздвигнете здание свое и устройтесь справедливо лишь умом своим, без Христа? Если же и

утверждают сами, что они-то, напротив, и идут к единению, то воистину веруют в сие лишь самые из них простодушные, так что удивиться даже можно сему простодушию. Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь а извлечший меч погибнет мечом. И если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до последних двух человек на земле. Да и сии два последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга, так что последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого. И сбылось бы, если бы не обетование Христово, что ради кротких и смиренных сократится дело сие. Стал я тогда, еще в офицерском мундире, после поединка моего, говорить про слуг в обществе, и все-то, помню, на меня дивились: "что же нам, говорят, посадить слугу на диван да ему чай подносить?" А я тогда им в ответ: "почему же и не так, хотя бы только иногда". Все тогда засмеялись. Вопрос их был легкомысленный, а ответ мой неясный, но мыслю, что была в нем и некая правда.

ж) О молитве, о любви и о соприкосновении мирам иным.

Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал, и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще: на каждый день, и когда лишь можешь, тверди про себя! "Господи, помилуй всех днесь пред тобою представших". Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле и души их становятся пред господом, - и сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому неведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ль они или нет. И вот, может быть с другого конца земли вознесется ко господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умирительно душе его, ставшей в страхе пред господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо и его любящее. Да и бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то кольми паче пожалеет он, бесконечно более милосердый и любовный чем ты. И простит его тебя ради.

Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью. Животных любите: им бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли божией. Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя, - увы, почти всяк из нас! - Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфим учил деток любить: он милый и молчаливый в странствиях наших, на подаянные грошки им пряничков и леденцу бывало купит и раздаст; проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного: таков человек.

Пред иною мыслью станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: "взять ли силой, али смиренною любовью?" Всегда решай: "возьму смиренною любовью". Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить сможешь. Смирение любовное - страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего. На всяк день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтоб образ твой был благолепен. Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный со скверным словом, с гневливою душой; ты и не приметил, может, ребенка-то, а он видел тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может быть ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно пожалуй, а все потому, что ты не уберегся пред дитятей, потому что любви осмотрительной, деятельной не воспитал в себе. Братья, любовь учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полюбить может,

и злодей полюбит. Юноша брат мой у птичек прощения просил: оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить, но ведь и птичкам было бы легче и ребенку и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю да было бы. Все, как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецелою любовью мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтобы и они грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным.

Други мои, просите у бога веселья. Будьте веселы как дети. как птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что затрет он дело ваше и не даст ему совершиться, не говорите: "силен грех, сильно нечестие, сильна среда скверная, а мы одиноки и бессильны, затрет нас скверная среда и не даст совершиться благому деланию". Бегите, дети, сего уныния! Одно тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват. А скидывая свою же лень и свое бессилие на людей, кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на бога возропщешь. О гордости же сатанинской мысля так: трудно нам на земле ее и постичь, а потому сколь легко впасть в ошибку и приобщиться ей, да еще полагая, что нечто великое и прекрасное делаем. Да и многое из самых сильных чувств и движений природы нашей мы пока на земле не можем постичь, не соблазняйся и сим и не думай, что сие в чем-либо может тебе служить оправданием, ибо спросит с тебя судия вечный то, что ты мог постичь, а не то, чего не мог, сам убедишься в том, ибо тогда все узришь правильно и спорить уже не станешь. На земле же воистину мы как бы блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом. Многие на земле от нас скрыты, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным, если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее. Мысля так.

з) Можно ли быть судиею себе подобных? О вере до конца.

Помни особенно, что не можешь ничьим судиею быть. Ибо не может быть на земле судья преступника, прежде чем сам сей судья не познает, что и он такой же точно преступник, как и стоящий пред ним, и что он-то за преступление, стоящего пред ним, может прежде всех и виноват. Когда же постигнет сие, то возможет стать и судиею. Как ни безумно на вид, но правда сие. Ибо был бы я сам праведен, может и преступника, стоящего предо мною, не было бы. Если возьмешь принять на себя преступление стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим преступника, то немедленно прими и пострадай за него сам, его же без укора отпусти. И даже если б и самый закон поставил тебя его судиею, то сколь лишь возможно будет тебе, сотвори и тогда в духе сем, ибо уйдет и осудит себя сам еще горше суда твоего. Если же отойдет с целованием твоим бесчувственный и смеясь над тобою же, то не соблазняйся и сим: значит срок его еще не пришел, но придет в свое время; а не придет, все равно: не он, так другой за него познает и пострадает, и осудит, и обвинит себя сам, и правда будет восполнена. Верь сему, несомненно верь, ибо в сем самом и лежит все упование и вся вера святых.

Делай неустанно. Если вспомнишь в ноши, отходя ко сну: "я не исполнил что надо было", то немедленно восстань и исполни. Если кругом тебя люди злобные и бесчувственные и не захотят тебя слушать, то пади пред ними и у них прощения проси, ибо воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать. А если уже не можешь говорить с озлобленными, то служи им молча и в уничтожении, никогда не теряя надежды. Если же все оставят тебя и уже изгонят тебя силой, то, оставшись один, пади на землю и целуй ее, омочи ее слезами твоими, и даст плод от слез твоих земля, хотя бы и не видал и не слышал тебя никто в уединении твоём. Верь до конца, хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался: принеси и тогда

жертву и восхвали бога ты, единый оставшийся. А если вас таких двое сойдутся, – то вот уж и весь мир, мир живой любви, обнимите друг друга в умилении и восхвалите господу: ибо хотя и в вас двоих, но восполнилась правда его.

Если сам согрешишь и будешь скорбен даже до смерти о грехах твоих, или о грехе твоим внезапно, то возрадуйся за другого, возрадуйся за праведного, возрадуйся тому, что если ты согрешил, то он зато праведен и не согрешил.

Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью уже необоримую, даже до желания отомщения злодеям, то более всего страшись сего чувства; тотчас же иди и ищи себе мук так, как бы сам был виновен в сем злодействе людей. Примми сии муки и вытерпи, и утолитя сердце твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть не совершил бы его при свете твоим. И даже если ты и светил, но увидишь, что не спасаются люди даже и при свете твоим, то пребудь тверд, и не усомнись в силе света небесного; верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом, то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер. Праведник отходит, а свет его остается. Спасаются же и всегда по смерти спасающего. Не принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди мучеников своих и чтят тех, коих замучили. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость твоя, которую лишь праведный обретает. Не бойся ни знатных, ни сильных, но будь премудр и всегда благолепен. Знай меру, знай сроки, научись сему. В уединении же оставаясь, молись. Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга, и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар божий, великий, да и не многим дается, а избранным.

и) О аде и адском огне, рассуждение мистическое.

Отцы и учителя, мысля: "что есть ад?" Рассуждаю так:

"Страдание о том, что нельзя уже более любить". Раз, в бесконечном бытии, неизмеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: "я есмь и я люблю". Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отшедший с земли, видит и лоно Авраамово, и беседует с Авраамом, как в притче о богатом и Лазаре нам указано, и рай созерцает, и ко господу восходить может, но именно тем-то и мучается, что ко господу взойдет он не любивший, соприкоснется с любившими любовью их пренебрегший. Ибо зрит ясно и оговорит себе уже сам: "ныне уже знание имею и хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная и не придет Авраам хоть каплею воды живой (то-есть вновь даром земной жизни, прежней и деятельной) прохладить пламень жажды любви духовной, которую пламенею теперь, на земле ее пренебрегши; нет уже жизни и времени более не будет! Хотя бы и жизнь свою рад был отдать за других, но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву любви принести, и теперь бездна между тою жизнью и сим бытием". Говорят о пламени адском материальном: не исследую тайну сию и страшусь, но мысля, что если б и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо, мечтаю так, в мучении материальном хоть на миг позабылась бы ими страшнейшая сего мука духовная. Да и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. А если б и возможно было отнять, то, мысля, стали бы от того еще горше несчастными. Ибо хоть и простили бы их праведные из рая, созерцав муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но тем самым им еще более бы приумножили мук, ибо возбудили бы в них еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна. В робости сердца моего мысля однако же, что самое сознание сей невозможности послужило бы им, наконец, и к облегчению, ибо приняв любовь праведных с невозможностью воздать за нее, в покорности сей и в действии смирения сего, обрящут наконец как бы некий образ той деятельной любви, которую,

пренебрегли на земле, и как бы некое действие с нею сходное... Сожалею, братья и други мои, что не умею сказать сего ясно. Но горе самим истребившим себя на земле, горе самоубийцам! Мыслью, что уже несчастнее сих и не может быть никого. Грех, рекут нам, о сих бога молить, и церковь наружно их как бы и отвергает, но мыслью в тайне души моей, что можно бы и за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос. О таковых я внутренно во всю жизнь молился, исповедуюсь вам в том, отцы и учителя, да и ныне на всяк день молюсь.

О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было бога жизни, чтоб уничтожил себя бог, и все создание свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получают смерти...

Здесь оканчивается рукопись Алексея Федоровича Карамазова. Повторяю; она не полна и отрывочна. Биографические сведения, например, обнимают лишь первую молодость старца. Из поучений же его и мнений сведено вместе, как бы в единое целое, сказанное очевидно в разные сроки и вследствие побуждений различных. Все же то, что изречено было старцем собственно в сии последние часы жизни его, не определено в точности, а дано лишь понятие о духе и характере и сей беседы, если сопоставить с тем, что приведено в рукописи Алексея Федоровича из прежних поучений. Кончина же старца произошла воистину совсем неожиданно. Ибо хотя все собравшиеся к нему в тот последний вечер и понимали вполне, что смерть его близка, но все же нельзя было представить, что наступит она столь внезапно; напротив, друзья его, как уже и заметил я выше, видя его в ту ночь столь, казалось бы, бодрым и словоохотливым, убеждены были даже, что в здоровье его произошло заметное улучшение, хотя бы и на малое лишь время. Даже за пять минут до кончины, как с удивлением передавали потом, нельзя было еще ничего предвидеть. Он вдруг почувствовал как бы сильнейшую боль в груди, побледнел, и крепко прижал руки к сердцу. Все тогда встали с мест своих и устремились к нему; но он, хоть и страдающий, но все еще с улыбкой взирая на них, тихо опустил с кресел на пол и стал на колени, затем склонился лицом ниц к земле, распротер свои руки и, как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь (как сам учил), тихо и радостно отдал душу богу. Известие о кончине его немедленно пронеслось в ските и достигло монастыря. Ближайшие к новопреставленному и кому следовало по чину стали убирать по древнему обряду тело его, а вся братия собралась в соборную церковь. И еще до рассвета, как передавалось потом по слухам, весть о новопреставленном достигла города. К утру чуть не весь город говорил о событии, и множество граждан потекло в монастырь. Но о сем скажем в следующей книге, а теперь лишь прибавим вперед, что не прошел еще и день, как совершилось нечто, до того для всех неожиданное, а по впечатлению, произведенному в среде монастыря и в городе, до того как бы странное, тревожное и сбивчивое, что и до сих пор, после стольких лет, сохраняется в городе нашем самое живое воспоминание о том столь для многих тревожном дне...
